Адам Базарский

Дочь ойратского хана



Адам Базарский

Дочь ойратского хана

«Автор»
2026

Базарский А.

Дочь ойратского хана / А. Базарский — «Автор», 2026

Роман «Дочь ойратского хана» — эпическое повествование о судьбе Даяны, пятнадцатилетней дочери ойратского хана Багатура. Пока отец с отрядом ушёл на переговоры, в аул вторгается казахский отряд. Юный Самбуу и старый Чойбал выигрывают три смертельных поединка, но по условию дети хана становятся заложниками.Даяна и брат увозят в казахские степи. Через годы она становится женой хана Мустафы, матерью Темира, который вырастает сильным правителем. После его отравления власть переходит к младшему брату, а Даяна, уже бабушка, держит на руках внука Мусу — новую кровь рода.Это история о чести и предательстве, о силе женщин степи, о том, как кровь и судьба переплетаются, а степь помнит всех, кто жил и умирал на её просторах.

© Базарский А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора 6
Пролог 8
Черный весник 15
Поединок 24
Долгая дорога 29
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Дочь ойратского хана

От автора

Эта книга началась с одного вопроса, который не отпускал меня годами: что чувствует девушка, когда её судьбу решают чужие мужчины на чужой земле?Не в тихой комнате и не за письменным столом — а в степи, где небо огромно, а человек мал. Где честь весит больше жизни, а кровь помнит дальше, чем человеческая память. Где пятнадцатилетняя дочь ойратского хана в один день может стать и хозяйкой очага, и заложницей, и матерью будущего рода.«Дочь ойратского хана» — это не просто история Даяны. Это история двух народов, чьи судьбы навсегда переплелись кровью, ненавистью и неожиданной близостью. Это история о последних десятилетиях великой кочевой цивилизации, которая уходила в небытие под ударами империй.В XVIII веке степь ещё жила по своим древним законам. Ойраты — джунгары — создали последнее мощное кочевое государство Центральной Азии. Джунгарское ханство простиралось от Алтая до Тянь-Шаня, держало в страхе соседей, вело войны с Цинской империей и казахами. Это был последний великий осколок той степной силы, которая когда-то потрясла мир под знамёнами Чингисхана. Но история уже готовила ему гибель.В 1755–1758 годах цинские армии императора Цяньлуна нанесли джунгарам сокрушительный удар. Ханство было уничтожено не просто как государство — оно было стёрто почти физически. Историки до сих пор спорят о цифрах, но ясно одно: сотни тысяч ойратов погибли от меча, голода и холода. Мужчин убивали, женщин и детей уводили в рабство или рассеивали. Степь, которая столетиями кормила и защищала этот народ, стала для многих могилой. Джунгарское ханство — последнее полноценное кочевое государство Центральной Азии — перестало существовать. Остались лишь разрозненные роды, беженцы и память.Но трагедия не была односторонней. Казахское ханство к тому времени уже пережило свой собственный ад. В начале XVIII века джунгарские войска обрушились на казахские жузы с такой силой, что это время вошло в народную память как «Ақтабан шұбырынды» — годы Великого бедствия. Целые аулы уходили в горы и пустыни, оставляя позади пепелища. Казахи потеряли огромные территории, скот, людей. И хотя позже они сумели оправиться и даже принять участие в разгроме Джунгарии, рана осталась глубокой. А вслед за этим пришла уже другая сила — Российская империя, которая шаг за шагом поглощала казахские земли, лишая их независимости. Так два народа, которые веками враждовали, грабили друг друга, брали в плен женщин и детей, оказались жертвами одной большой исторической бури. Степь, бывшая для них домом и храмом, постепенно переставала быть свободной. Кочевой мир, в котором человек рождался в седле и умирал с оружием в руках, уходил. Вместе с ним уходили законы чести, кровной мести, поединков и клятв, данных под открытым небом. Именно на этом фоне я и решил рассказать историю Даяны.Она — дочь ойратского хана, выросшая в мире, который уже стоит на краю пропасти. Её аул ещё живёт по старым обычаям: шьют камзолы, режут верблюдов, спорят о судьбах девушек. Но уже слышен топот чужих копыт. Уже приходит вестник с криком о смерти. Уже решаются поединки, в которых ставка — не только жизнь, но и честь всего рода. А потом наступает плен, чужая юрта, чужой народ… и неожиданная новая жизнь. Через Даяну я хотел показать, как большая история проходит через тело и душу одного человека. Как империя, уничтожающая целое ханство, сначала уничтожает конкретную семью. Как ненависть между ойратами и казахами рождает не только кровь, но и смешанную кровь — детей, которые уже не могут принадлежать только одному миру. Как женщина, которую судьба бросила из одной степи в другую, становится связующим звеном между двумя народами, уже обречёнными на историческую гибель.Эта книга — о том, что остаётся, когда государства рушатся. Остаются люди. Остаётся степь. Остаётся память о том, как жили те, кто ещё помнил вкус настоящей свободы — горький, как полынь, и сладкий, как кумыс после долгого дня.Я не стремился судить, кто был правее — ойраты или казахи, Цин или Россия. История редко бывает справедливой. Она

просто происходит. И оставляет после себя истории таких, как Даяна, — тех, кто сумел пронести через огонь и пепел не только свою жизнь, но и достоинство.Если, читая эту книгу, вы услышите за словами скрип войлока, запах дыма и крови, далёкий крик вестника и тихий голос девушки, которая всё-таки решила жить, — значит, я сумел сделать то, ради чего писал.

Пролог

Солнце стояло в самой своей поре, когда тени под телегами скукоживались до размера заячьего уха, а воздух над Великой Степью дрожал, словно тетива боевого лука, натянутого до предела. Аул, раскинувшийся в излучине сухого ручья, жил своей неспешной, вековечной жизнью, которая не знала ни часов, ни минут, а лишь меру солнца, меру ветра и меру людского дыхания. Пять десятков душ — три десятка юрт, крытых серым войлоком, приютились у подножия пологого холма. Еще вчера здесь было людно и шумно, ибо в самом большом шатре, расшитом золотыми драконами, заседал хан со своими нукерами, и голоса их раскатывались по стойбищу, как гром по весенней степи.

Ныне же аул осиротел. Багатур-хан, чье имя гремело от Алтая до Хангая, ушел с отборной сотней воинов на закат, туда, где солнце каждый вечер проливает кровь в небо, прощаясь с днем. Тридцать верст — не путь для конного ойрата, но путь для торговый, ибо на дальней кочевке, у колодцев Трех Берез, соседний хан, старый лис Долгор, дожидался табуна, и счет шел не на головы, а на тысячи копыт. Отец семейства вернется не раньше, чем молодая луна трижды народится и вновь оскудеет, оставив на небе лишь бледный, призрачный серп. А пока власть в юрте перешла к дочери — и это было странное, непривычное время, когда женские руки правили мужским очагом.

Даяна, пятнадцати весен от роду, сидела на парчовых подушках, скрестив по-мужски ноги — вопреки обычаю, который велел девушкам поджимать их под себя, прятать колени, прятать волю, прятать всё, что могло бы напомнить мужчине о силе, скрытой под шелками. Ей было плевать на обычаи, когда в руках была игла. За окном стоял жаркий, густой день, пахло нагретой кожей и полынью, а посреди юрты, на красном войлоке, были разложены лоскуты. Две подруги, дочери нукеров — тонкобровая Алтан и черноглазая, вертлявая как ящерица, Хулан — помогали ей шить камзол для младшего брата. Расшивали воротник синим бисером, который привезли из далекого Самарканда, и каждый стежок ложился на сукно, как слово в песню, как шаг в танец, как мгновение в жизнь.

— Твой стежок крив, как старая узда, — беззлобно сказала Даяна Хулан, поправляя подруге руку, и голос ее звучал ровно, но в нем уже проступала та хозяйская строгость, что отец вбил в нее с детства. — Брат поколотит меня, если камзол будет рябым. А он, ты знаешь, зорок на такие вещи — один бок кривой, и весь подарок псу под хвост.

— Твой брат Самбуу поколотит скорее тебя? — рассмеялась Алтан, откинув прядь волос, и глаза ее блеснули той девичьей хитрецой, что умеет превращать правду в шутку, а шутку — в защиту. — Да он скорее переломает себе руки, чем поднимет их на ханскую дочь. Он же тебя боится, как огня, как грозы в открытом поле.

— То было детство, — Даяна усмехнулась, но глаза ее потеплели. — А теперь он вымахал, и ему кажется, что он уже взрослый мужчина, отец будущего рода. А он всего лишь мальчишка, который боится отцовского гнева больше, чем волчьей стаи.

— Мальчишка, — мечтательно протянула Хулан, не поднимая глаз от шитья, и в голосе ее послышалась та сладкая, тягучая нота, которую девушки берегут для тайных разговоров у костра. — И смех у него когда он смеется, весь аул улыбается.

Даяна нахмурилась, и игла ее на миг замерла. Она посмотрела на подругу, на ее раскрасневшиеся щеки, на то, как та нервно теребит бисер, пришивая его не в ту сторону, и внутри у нее кольнуло знакомое, нехорошее чувство. Она знала этот взгляд, знала эту дрожь в голосе, сама смотрела так на коня, которого нельзя было оседлать. И сейчас, в душном полдне, среди запаха кожи и полыни, она поняла вдруг ясно и остро, как лезвие ножа: Алтан смотрит на ее брата не как на друга, а как на суженого.

— Хулан, — сказала она тихо, так тихо, что подруга невольно подняла голову, — ты бисер вкривь кладешь. Камзол будет как та песня, что поет пьяный пастух — красиво, да ни складу, ни ладу.

Хулан вспыхнула, опустила глаза, но уголки губ ее дрогнули в улыбке, и Даяна поняла, что ее слова не дошли. Она вздохнула, и в этом вздохе было столько горечи, сколько не вместила бы и полная пиала кумыса. «Глупые мы», — подумала она. — «Шьем, поем, мечтаем, а жизнь уже давно за нас всё решила. У каждого стежка — свое место. У каждой девушки — свой удел. И ни игла, ни слезы, ни даже ханский указ не могут пройти против судьбы».

В этот момент снаружи, за пологом юрты, раздался отчаянный визг, перешедший в хриплый лай, и следом — тяжелый топот и сытая матерщина, которая резала слух.

— Шайтан! — рявкнул чей-то молодой, ломающийся голос. — Чтоб твоя печень ссохлась, чтоб твой хвост отсох! — И тут же глухой удар, хрип, и снова лай, уже обиженный, скулящий.

Полог юрты распахнулся, впуская внутрь клуб жаркого воздуха и мелкую пыль, и вместе с ними — запах мяса, которое только что резали. На пороге стоял Самбуу, шестнадцатилетний брат Даяны, с лицом красным от гнева и смеха одновременно, с глазами, в которых горел тот бесовский огонь. В левой руке он держал еще дымящийся, жирный кусок бараньего курдюка, и с него капало сало, оставляя жирные пятна на земляном полу. А правой ногой он продолжал наносить удары в сторону пустоты, потому что пес уже выскочил наружу.

— Видели? — выдохнул он, ворвавшись в юрту, и голос его сорвался на хрип. — Карабаш, пес с душой вора! Хозяин режет верблюда — мясо поет песни, ожидая ножа. А этот... он утащил филейную часть! Прямо перед моим носом! Я занес нож, отвернулся за солью, а он — цап! И был таков. Как у него совести хватило? Этот старый разбойник, он же сыт, он же жирный, как купец из Бухары!

И точно, вслед за братом, пошатываясь, ввалился старый волкодав Карабаш — клыкастый, с седой мордой и хвостом, намертво скрученным в баранку. В пасти его и впрямь болтался внушительный ломоть свежей верблюжатины, и челюсти его, сжимавшие мясо, дрожали от напряжения и упрямства. Пес, справедливо полагая, что добытое в честной схватке (или под шумок резни) принадлежит ему, глухо рычал, не разжимая челюстей.

Самбуу, недолго думая, размахнулся и смачно пнул пса в лоснящийся бок. Карабаш взвизгнул, присел на задние лапы, но мясо не выпустил, только глаза его налились кровью, а хвост скрутился еще туже. Тогда молодой ханский сын ухватил зверя за загривок, провернул его в воздухе, словно веретено, и с коротким напутствием: «Айда на солнце, падаль!» — вышвырнул пса наружу.

Войлок упал, и снаружи раздался обиженный скулящий звук, а затем — звук чавканья, такой сочный, такой наглый, что даже Самбуу замер. Карабаш всё-таки проглотил украденное, не жуя, и теперь, наверное, сидел у входа, облизываясь и поглядывая на дверь.

Даяна вскочила, и игла выпала из пальцев, вонзившись в войлок острием вниз. Глаза ее сверкнули гневом. Она шагнула к брату, и голос ее, низкий, звонкий, прозвучал так, что даже стены юрты, казалось, вздрогнули.

— Самбуу! Ты, чудище косолапое! — закричала она. — Не смей бить пса! Это священный зверь! Карабаш спас твою жизнь в позапрошлую зиму, когда волчья стая отрезала тебя от аула, и ты лежал в снегу, истекая кровью, а он, старый, больной, с перебитой лапой, рвал глотки волкам, пока мы не подоспели! А ты его — ногой?! Ты забыл? Ты забыл, как он лизал твои раны, когда ты бредил, и как бабушка говорила, что если бы не Карабаш, мы бы хоронили тебя в мерзлой земле?

Самбуу, вытирая жирные руки о полы цветастого халата, ухмыльнулся, но в глазах его мелькнула тень — он помнил. Помнил холод, помнил кровь, помнил, как старый пес лежал

рядом, согревая его своим телом. Но признать это вслух было выше его сил. Мальчишка, которым он был, и мужчина, которым он хотел казаться, бились в нем, как два барана у водопоя.

— Спас? — переспросил он с деланной насмешкой, отводя глаза. — Я тогда сам отбился саблей! А он просто лаял из-под телеги, старый трус. И мясо воровать нечестно. А ну, иди сюда, сестра, помиримся, пока я тебя тоже не пнул. Он шагнул к ней, раскинув руки, готовый обнять, и Даяна, знавшая брата как облупленного, вместо драки схватила с подноса пиалу с кумысом и выплеснула ему в лицо. Белая, кислая жидкость залила его глаза, стекала по щекам, по вороту.

Самбуу расхохотался, отряхиваясь, и смех был звонким.

— Как есть мать! — сказал он, вытирая лицо рукавом. — Так же злилась, когда мы из шкуры варварина тетиву делали, а она хотела из нее шапку для отца. Помнишь, сестра

Он хлопнул дверью и вышел догонять дружков, которые уже дорезали верблюда у колоды, напевая протяжную, хриплую песню о ханских походах и о том, как степь проглатывает своих героев, оставляя лишь кости и славу.

В юрте повисла тишина. Войлок осел, пыль улеглась, и слышно было лишь, как где-то вдалеке мычит верблюдица, потерявшая детеныша. Алтан, переглянувшись с Хулан, хихикнула — нервно, прикрывая рот ладонью. Затем, наклонившись к Даяне, она негромко, с той особой женской лукавостью, которая не меняется ни среди неолита, ни среди средневековья, проговорила:

— А у тебя, Даяна, брат — красивый. Плечи как у барса. Ты не сердись на него, он же добрый, он просто горячий.

Даяна, все еще раскрасневшаяся от вспышки гнева, вдруг остыла, словно кто-то плеснул на нее холодной водой из колодца. Она подобрала иглу, воткнула ее в сукно и тяжело вздохнула.

Пятнадцать лет — возраст горьких истин. Возраст, когда ты уже видишь, куда ведет дорога, но не можешь свернуть с нее, потому что узда в руках старших, а не твоих.

— Красивый, — согласилась Хулан, не поднимая глаз — Только не смотри на него, Алтан. Потеряешь время. Отец, когда уезжал, наказал мне, а сам шепнул моему дяде-тысячнику: «К осени сватаем дочь за старшего сына Таргатая из рода Борджигин». Я слышала, как он шептал, думал, я сплю. Но я не спала. Я смотрела в дымник и считала звезды, и каждая звезда была как слеза. У меня нет шансов, Алтан. У меня уже всё решено без меня.

Алтан, тронутая внезапной печалью подруги, помолчала, перебирая в руках синий бисер, который осыпался с камзола. Потом она горько усмехнулась и, подражая взрослым женщинам, поправила платок на голове, хотя платок и так сидел ровно.

— Больно он мне нужен, твой Самбуу, — сказала она с той обидой, которая прячет за собой истинную боль. — Вечно в крови да в пыли, вечно с ножом за голенищем, и мысли его далеко, где-то там, за горами, за табунами, за чужими женщинами. Мой отец, воин Удегей, уже дал слово хану Убаши. Меня просватали за его третьего сына, слепого на один глаз, зато богатого, как купец из Бухары. Он, говорят, не видит даже того, что у него под носом, зато видит цену каждого барана в своем стаде. Так что мы с тобой, подруга, обе невольницы. Ты — шьешь камзол для брата, а не для любимого. Я — смеюсь, а завтра заплачу, когда меня посадят в паланкин и повезут через три реки к чужому очагу.

— Лучше быть невольницей, чем никем, — тихо ответила Даяна, и в голосе ее зазвучала та странная, взрослая мудрость, которую не найти в книгах, ибо ее высекают жизнью, как огонь из кремня. — Удел девушки — не выбирать, а принимать. Как река принимает свое русло. Но я, Алтан, не хочу быть рекой, которая течет только в одну сторону. Я хочу быть ветром — он везде, и он сам выбирает, куда дуть. Только вот крылья у меня еще не выросли.

— Вырастут, — прошептала Алтан, сжимая ее руку. — Вырастут, когда придет время. Или когда судьба устанет нас пинать, как старого пса.

Снаружи, сквозь войлок, донесся далекий крик пастухов, которые гнали отары с вечерних пастбищ. В долине, за холмом, бродили отары баранов, и волкодавы — косматые, злые, с

горящими в сумерках глазами — охраняли покой скота, бегая вдоль стада и лая на каждого, кто приближался. Солнце клонилось к западу, отбрасывая длинные, синие тени юрт на черную, маслянистую, напитавшуюся жизнью землю. И в этом размеренном, жестоком и прекрасном мире, где режут верблюдов, шьют камзолы, а отцы продают табуны за тридевять земель, две девочки на пороге женской зрелости отмеривали нить для чужих судеб, и каждая нить была похожа на поводок, который вот-вот затянется на шее.

А вдалеке, за синей кромкой горизонта, где небо сходилось с землей в долгом, мучительном поцелуе, громоздились тучи — тяжелые, лиловые, с золотыми краями, обещая к ночи грозу. Это был первый предвестник осенних смут и набегов, когда соседи, уставшие от летнего зноя, снова берутся за оружие, решая старые споры новой кровью. Хан Багатур вернется через месяц, когда молодой месяц вырастет и нальется силой. Но вернется ли он в тот же аул, где всё так же пахнет дымом, кислым молоком и свежей кровью? Или ветер разметает этот войлок по степи, как листья старого карагача? Время, раскинув карты, только начинало тасовать колоду, и Даяна чувствовала это каждой клеткой своей молодой, горячей кожи.

Даяна в последний раз вонзила иглу в сукно и, откусив нить зубами, осмотрела камзол. Синий бисер вспыхнул в луче, пробившемся сквозь дымовое отверстие юрты, и показалось на мгновение, что сама Вселенная взглянула на эту вещь, сотворенную женскими пальцами, и одобрительно кивнула. Работа была закончена. Она отложила шитье в сторону и провела ладонью по лицу — убрала выбившуюся из-под платка прядь волос, черных, как смоль, густых, точно конский хвост, и таких тяжелых, что, казалось, они тянули ее голову к земле.

Степные женщины в пятнадцать лет уже не девочки. Они уже женщины, даже если еще не знали мужчины, даже если еще смеялись по-детски, даже если верили, что их жизнь может быть иной. Даяна была высока для ойратки, тонка в поясе, но с плечами, округлившимися не мягкой девичьей полнотой, а той скрытой силой, что досталась ей от отца-хана, ломавшего подковы голыми руками. В ней чувствовалась порода, кровь, древняя, как эти горы, как эта степь, как эти звезды, что каждую ночь зажигались над головой, чтобы погаснуть с рассветом. Лицом она пошла в мать: разрез глаз — чуть с прищуром, с лукавинкой, с той тайной, которую женщина носит в себе с рождения, скулы не выдающиеся, а точеные, словно резец мастера прошелся по слоновой кости, создавая совершенство, которому не нужны украшения. Но в отличие от матери, смотревшей на мир с покорной мудростью, которая принимает всё, что посылает судьба, Даяна глядела прямо, смело, как смотрят орлята, только что выбравшиеся из гнезда и впервые увидевшие небо во всей его бесконечной глубине. Косы ее, если бы она их распустила, легли бы на войлок толщиной в мужскую ладонь, и каждый волосок блестел на солнце, как горный ручей, как струна, как жизнь. Но сейчас — аккуратно под платок, две тугие черные змеи, едва касающиеся пояса, и она чувствовала их тяжесть, как чувствуют тяжесть всего, что нельзя отбросить.

— Вот и всё, — сказала она, вставая, и колени ее хрустнули — долго сидели на подушках, долго вглядывались в узоры, долго думали о том, что не изменить. — Пойдем, Алтан. Бабушка научила меня одному: камзол хорош, когда руки отдохнувшие, а голова свежая. Если шить через силу, в каждую петлю вплетается усталость, и вещь выходит недоброй.

Алтан поднялась, отряхнула платье, и на лице ее застыло то выражение, которое бывает у девушек, когда они чувствуют, что скоро, очень скоро, их мир перевернется, и они уже не будут теми, кем были сегодня. Вместе они вышли из юрты, и свет заката ударил им в глаза. Свет, который говорил: день закончился, но это не конец, это только начало вечера, а вечер — это время тайн, которые зреют в темноте.

Солнце уже начало клониться к западу, и тени юрт вытянулись по земле, как длинные, худые руки, тянущиеся к горизонту. Но жара не ушла — она только стала другой, плотной, тяжелой, как баранья шкура после дождя. Возле соседнего шатра, где разделывали верблюда, воздух был пропитан запахом сырого мяса, крови и горячего жира, и этот запах смешивался с

запахом полыни. Самбуу с тремя дружками, все в халатах, подпоясанные кожаными ремнями, с ножами за голенищами — уже управились с тушами. Два верблюда лежали на циновках, разрубленные на части: грудинки, рёбра, лопатки, горбы, жирные хвосты — всё было разложено в строгом порядке, как велит степной обычай.

Один из друзей, широколицый парень по имени Арслан, с глазами-щелками и руками, покрытыми шрамами от собачьих укусов и верблюжьих зубов, уже воткнул в землю рогатину, навесил над ней закопченный чугунный казан, а рядом развел невысокий костер из саксаульных щепок, который горел ровно, давая тот жар, что нужен для долгого варения. Другой, Байтаг, с гордостью новичка, который впервые участвует в большой резне, показывал остальным, как правильно коптить жирный верблюжий горб: насаживал его на длинные прутья, подвешивал над тлеющим арчовником.

— Эй, девки! — крикнул Самбуу, заметив сестру, и голос его звучал молодо и задиристо, как всегда, когда рядом были друзья. — А ну подходите! Вы будете резать на куырдак. Пальцы у вас тоньше — мясо тоньше пойдет, а значит, оно быстрее прожарится и будет сочнее. Только не нарезайте, как в прошлый раз, когда у тебя, Даяна, куски были с мой кулак. Мой кулак, сестра, велик, но я не хочу жевать его до полуночи.

Даяна молча взяла нож, который протянул ей брат. Клинок был остро отточен — в таких ножах ойраты знали толк, ибо оружие было их вторым языком. Скинув верхний комзол, оставшись в одном длинном платье с высоким воротом, плотно облегающем ее тонкую фигуру, она опустилась на корточки возле деревянного корыта. Алтан пристроилась рядом, и они начали работать в такт — как два колеса одной телеги. Жирная, с прожилками верблюжатина ложилась на доску, и Даяна резала её ломтями. На куырдак требовалось мелко, быстро. Алтан высыпала мясо в казан.

— Сильнее огонь! — бросила Даяна Байтагу, не поднимая головы, и голос ее был резок, как у хана на совете. — Куырдак любит жар, как молодой верблюд любит бег. Если огонь будет слабым, мясо даст сок, и вместо куырдака получится похлебка. А мы не для похлебки старались.

Байтаг поспешно подбросил сухих щепок, и костер взметнулся вверх, лизнув языками дна казана. Жир зашипел громче, мясо зазвенело, и запах поплыл по стойбищу, заставляя всех поворачивать головы, облизываться и думать о том, какое счастье — быть сытым.

Рядом, слышался мерный стук топоров. Самбуу с Арсланом и еще двумя парнями кололи дрова из сухого карагача — дерева твердого, как кость, и такого же упрямого. Поленья разлетались с сухим треском, щепки разлетались в стороны, падая на землю и смешиваясь с пылью. Пот стекал по их лицам, смешиваясь с пылью.

Даяна поглядывала на брата и думала о том, что он не знает, что такое страх. Не знает настоящего, того, который прорастает в груди, как черный корень, и душит тебя по ночам. Он боится только отца, и то по-детски, как боятся грозы или волков. А она боится всего, что лежит впереди. Боится Таргатая, старшего сына Борджигина, которого никогда не видела, но который уже держит ее жизнь в своих руках, как плеть. Боится, что он окажется старым, или злым, или жестоким, или просто чужим, таким чужим, что даже язык у них будет разный.

— Ты что задумалась? — спросила Алтан, толкнув ее локтем. — Мясо перережешь. А нам нужен куырдак для праздника, а не для поминок.

— О своем, — ответила Даяна, не поднимая глаз — Думаю, что нож в моей руке — единственное, что я сегодня выбираю сама. Где резать, как резать, тонко или толсто, быстро или медленно. А завтра… завтра, может быть, я уже не буду выбирать даже это.

— Не думай о завтра, — сказала Алтан, и в голосе ее послышалась та мудрость, которую девушки набирают у колодцев, когда никто не слышит. — Завтра придет само, как вор в ночи, и унесет то, что ему нужно. Сегодня мы живы, сегодня мы режем мясо, сегодня мы смеемся. Этого достаточно, чтобы быть счастливой.

Уже вечерело, и небо окрасилось в багрянец. Даяна выпрямилась, отряхнула руки от жира и крови, и с удовольствием разогнула затекшую спину. Рядом с ней Алтан уже затягивала завязки на своём переднике, и лицо её раскраснелось от жара, исходившего от казана, в котором шипело и потрескивало свежее мясо, смешанное с луком и курдючным салом.

— Ну вот, — сказала Даяна, вытирая нож о тряпицу и вкладывая его в ножны, — куырдак закипел, теперь пусть себе томится, пока мясо не станет мягким. Байтаг, не отходи от казана, помешивай деревянной ложкой, чтобы не пригорело.

Даяна уже собралась отойти к колодцу, чтобы сполоснуть руки, как вдруг из-за юрты, что стояла ближе всех к реке, показалась высокая, статная фигура Эркежан. Мать хана шла неспешно. На ней был чистый, тёмно-синий платок, повязанный так плотно, что ни один седой волос не выбивался из-под него, а на поясе висел короткий нож без украшений, который она никогда не снимала.

Эркежан подошла к девушкам, остановилась, окинула их взглядом — и этот взгляд был острым, внимательным, как у той, что привыкла управлять большим домом и замечать любую небрежность.

— Молодцы, — сказала она, и голос её был ровен, но в нём слышалась властность, которая не терпит возражений. — Мясо нарезано мелко, кости убраны, казан под присмотром. Теперь вам другое дело. Мойте руки, девочки, дочиста, чтобы ни капли жира не осталось на пальцах, а потом ступайте в красную юрту. Она с утра проветрена.

Она перевела дух, и в голосе её появилась та деловитая строгость, которая заставляла слушаться даже старых воинов.

— В красной юрте, в углу за сундуком, лежит большой персидский ковёр, тот, что хан привёз в прошлом году, с красными и синими узорами. Расстелите его ровно, без складок и перекосов, так, чтобы кайма шла вдоль стен. На него постелите корпешки, — она повернулась к Алтан и Хулан, — смотрите, чтобы лежали ровно, одна к другой, как колосья в снопе. На корпешки положите подушки в парчовых наволочках с золотыми кистями, она взглянула на Даяну. — И стряхните с них пыль как следует. Вынесите корпешки наружу, выбейте их палками, чтобы наполнитель не сбился в комья, и только потом расстилайте.

Она замолчала на миг, давая девушкам осознать важность поручения, и всё так же требовательно:

— Мы ждём гостей, если они увидят юрту, где пыль на подушках, а корпешки сбиты в сторону, они унесут в сердце не доброе слово, а насмешку, и она разлетится по степи быстрее ветра. Поэтому красная юрта должна быть готова так, будто её готовили к приезду самого хана.

— И не вздумайте бегать, как сайгаки, — добавила Эркежан, и в её голосе мелькнула чуть заметная усмешка, — делайте всё быстро, но с толком. Если понадобится поднять сундук, позовите Байтага. А когда всё будет готово, зайдите ко мне в, я проверю, чтобы каждая складка лежала на месте. Если увижу нерадение, заставлю всё переделывать сызнова, хоть до заката.

— Ну, чего стоите, как вкопанные? — сказала Эркежан и легонько махнула рукой. — Мойте руки и за работу. Время не ждёт, а гости уже, может быть, трясутся в сёдлах за ближним барханом.

Она развернулась и пошла к своей юрте, не оглядываясь, и в каждом её шаге была та уверенность, которая передаётся только тем, кто с детства привык управлять большим домом.

— Слышали, что сказала матушка? — сказала Даяна, отбрасывая мокрую прядь волос со лба и направляясь к колодцу. — Моем руки — и в красную юрту.

Алтан и Хулан, уже закатывая рукава, побежали следом, и их весёлые голоса смешались с плеском воды. Через несколько минут они уже скрылись за пологом красной юрты, и оттуда донёсся шум переставляемых корпешек и глухое, но бодрое переругивание девушек, в котором слышался смех и деловитая суета.

Пока девушки наводили красоту, Самбуу и его друзья, управившись с дровами, свернули к небольшой землянке, служившей оружейным складом. Дверь, обитая железными полосами, скрипнула. Внутри, в полумраке, на деревянных стойках висело оружие: кольчуги, сплетённые из тысяч железных колец, древние щиты, обтянутые кожей носорога, мечи в ножнах из кавказской стали.

Самбуу взял одну кольчугу за плечи — тяжелая, колечки звонко зазвенели. Он вытащил её наружу, кинул на траву.

— Три! — скомандовал он. — Берем две кольчуги, три щита, два меча, и... — он оглянулся в угол, где в пыли валялись два длинных, тонких мушкета с кремневыми замками. Один был привозной, тульской работы, другой — местный, подарок от ногайцев. — Их тоже тащи. И чистить! Чтоб блестели, как глаза у невесты.

Парни выволокли все это добро на свет. Нашлись тряпицы из старой рубахи, пучок сухой травы. Принялись натирать: кольчуги — до серебряного блеска, щиты — до маслянистого сияния, мечи — так, что лезвия начали слепить глаза, отражая закат. Мушкеты чистили с особым тщанием: протерли стволы изнутри, прочистили запальные отверстия шилом, насухо вытерли ложи.

Друг Самбуу, тот самый широколицый Арслан, крутил в руках тульский мушкет, щупал ствол, заглядывал в дуло.

— Слушай, Самбуу, — негромко, чтобы другие не слышали, спросил он, — а что скажет твой отец, когда узнает?

— О чем? — Самбуу, не поднимая головы, тер щит.

— О том, что ты в прошлом месяце на охоте разорвал ствол у его любимого мушкета. Ну, того, который он от тебя прятал. Я был с тобой, я помню — пороху насыпал с верхом, забил пыжом, а дуло грязное было. Бабахнуло — и ствол как цветок распустился, на три лепестка.

Самбуу замер. Рука его, натиравшая щит, повисла в воздухе. Он поднял голову — лицо его, молодое, безусое, вдруг стало по-детски испуганным. Но тут же он взял себя в руки, пожал плечами.

— Отец... он что сделает? — голос Самбуу чуть дрогнул. — Он меня на месяц, как последнего пастушонка, заставит скот пасти. Утром подниматься с петухами, вечером спать в пыли, с баранами. Ни кумыса горячего, ни застолья, ни охоты. Целый месяц, Арслан! Это хуже, чем тридцать плетей. Я этого боюсь хуже смерти.

— Так спрячь пока обломки, — посоветовал Арслан. — Может, не сразу заметит. А там, глядишь, забудет.

— Хан ничего не забывает, — вздохнул Самбуу. — Дай сюда тряпку, давай лучше натирать этот проклятый щит до зеркала. Может, если увидит блеск, сменит гнев на милость.

Из дальней юрты доносились голоса девушек — они уже заканчивали уборку. От казана с куырдаком по стойбищу разносился умопомрачительный запах жареного мяса, лука и степных трав. В долине, где пастухи гнали отары домой, слышались крики и лай волкодавов. День клонился к вечеру, и на горизонте, в той стороне, где солнце садилось в багряную дымку, показалась первая пыль

Черный весник

Они услышали его задолго до того, как увидели. Сначала это был едва уловимый гул, тревожный, не похожий на топот табуна или шум ветра, а скорее на стон самой земли, которой передалась чужая боль. Потом из-за бархана, что синел на горизонте, вылетела пыльная струя, и в ней, как камень из пращи, вырвался всадник. Он не скакал, он летел, припав к гриве коня, словно хотел стать одним целым с этим обезумевшим от страха животным, и крик его, дикий, надорванный, хриплый, долетел до аула раньше, чем копыта коснулись земли у первой юрты. В этом крике слышалась не просто весть, а сама смерть, уже протянувшая свои костлявые пальцы к их мирному очагу.

— Враги! Враги-и-и! Собирайтесь!

Конь рухнул на передние ноги, взметнув песок и гальку, всадник, молодой пастух с лицом, серым от пыли и ужаса, будто его высекли из известняка, соскочил с седла, не удержался, покатился по земле, но тут же вскочил, хватая ртом воздух. Самбуу первым бросился к нему, за ним Арслан, Байтаг, остальные парни, побросав топоры и тряпки. Девушки выскочили из гостевой юрты, Даяна застыла с метелкой в руке, чувствуя, как та дрожит в ее пальцах, Алтан вцепилась ей в плечо, и ногти ее впивались в ткань халата, оставляя белые полумесяцы.

— Говори! — рявкнул Самбуу, тряся пастуха за ворот засаленного халата, и голос его сорвался на петушиный фальцет, потому что внутри уже все похолодело от предчувствия. — Кто? Где?

Пастух хватал ртом воздух, глаза его бешено вращались, как у загнанного зверя, и в них стоял ужас, который не передать словами. Он заговорил, глотая слова, сбиваясь, спотыкаясь о каждое дыхание:

— Я пас овец, в долине, у Черного камня, вдруг, откуда ни возьмись, двое всадников, кони еле идут, оба в крови, стрелы торчат из шеи, из лица, из груди, один уже не говорил, только хрипел, хрипел так страшно, будто ветер застрял у него в горле, второй, тот, что помоложе, слез с коня, упал, а перед смертью сказал, — пастух перекрестился по-ойратски, тронув лоб, губы и сердце, и в этом жесте было столько отчаяния, что у Даяны перехватило дыхание, — сказал: «Гостей ваших перебили. Отряд казахов, семьдесят сабель. Идут сюда. Будут через два-три часа».

Тишина. Такая глубокая, что стало слышно, как потрескивает костер под казаном с куырдаком, как шипит жир, падающий на угли, как бьется сердце в груди каждого, кто стоял вокруг. А потом тишина взорвалась криком, и этот крик был похож на вой раненого волка, на скрежет железа по камню.

— К оружию! — заорал кто-то из стариков, и голос его сорвался на визг, потому что годы не делают страх меньше.

— Женщин в юрты!

— Седлать коней!

Самбуу отпустил пастуха, и тот осел на землю, обхватив голову руками, обернулся к друзьям, и лицо его, еще минуту назад мальчишеское, с мягкими чертами и легким пушком над губой, вдруг стало жестким, точно выделанная кожа, которую месяц держали на солнце. В его глазах погасла искра юности, и зажглась другая, холодная, как сталь кинжала.

— Арслан, Байтаг, на склад! Все кольчуги, все шлемы, все, что есть, тащите! Бегом! Остальные, коней в аркан, к центральной площадке, живо, не мешкайте!

Аул, который полчаса назад жил мирной предпраздничной суетой, где женщины перебирали крупу, дети гоняли деревянные обручи, а старики курили трубки и вспоминали былые походы, закипел, как растревоженный муравейник, в который сунули раскаленную палку. Мужчины, их оставалось едва за двадцать, не считая подростков и старцев, чьи руки уже не

могли держать тяжелый меч, хватали оружие из землянок и тайников, тащили железные щиты, тяжелые, с кожаными ремнями, которые протерли плечи еще дедам, мечи в ножнах, покрытых патиной времени, копья с длинными, кованными из цветного металла наконечниками, на которых еще виднелись зазубрины от старых боев. Самбуу натянул кольчугу через голову, та звякнула, осела на плечах, холодная, пахнущая железом и старой кровью, и этот запах ударил в нос, смешался с потом и страхом. Арслан помог ему застегнуть ремни на боках, потом подал шлем, островерхий, с наносником и кольчужной сеткой для лица, и шлем показался Самбуу тяжелее всей его жизни, которая длилась всего восемнадцать лет.

— Тяжелая, — сказал Самбуу, мотнув головой, и кольчуга звякнула в ответ, будто соглашаясь. — Но привыкну.

Даяна смотрела на брата. Впервые она видела его не в халате, а в боевом облачении, и этот образ вдруг вытеснил все прежние воспоминания. Он вдруг показался ей чужим, почти взрослым, таким же, каким она помнила отца перед дальней поездкой, когда тот обнимал ее, и от его кольчуги пахло железом и дорогой. Внутри у Даяны что-то оборвалось, и она поняла, что время детства кончилось, и теперь началась другая жизнь, где счет идет не на дни, а на удары сердца.

— Даяна! — окликнула её мать, и голос Эркежан был спокоен, даже будничен, словно она приказывала растопить очаг, а не готовиться к смерти, и в этом спокойствии было больше страха, чем в любом крике. — Не стой столбом. Алтан, бегите в мою юрту. Золото, серьги, мониста, всё в сундук. И ковры ценные сверху, те, что из Бухары, те, что отец привез. Быстро.

— Матушка, а что с нами будет? — голос Даяны дрогнул, но она уже двигалась, на ходу запахивая халат, чувствуя, как холодный воздух касается спины, как мурашки бегут по коже.

— Будет то, что будет, — ответила Эркежан, выволакивая из-под войлока тяжелый окованный сундук, и в голосе ее послышалась сталь. — Если возьмут аул, золото для выкупа. Если нет, вернемся и откопаем. Ханское добро не должно пропасть.

Даяна, подчиняясь, схватила с подушек связку украшений, браслеты с бирюзой, которая переливалась, как вода в горном ручье, серебряные нашивки на косы, которые звенели при каждом движении, янтарные бусы из Прибалтики, и бросила в сундук. Руки ее работали быстро, но внутри, где-то под ложечкой, рос холодный ком, и она чувствовала, как этот ком разрастается, заполняет грудь, сжимает горло, не дает дышать.

— Я тоже возьму кое-что, — прошептала она, когда мать отвернулась.

Она скользнула в угол, где висела старая овчина, пахнущая потом и дымом, и из-под нее достала кинжал, короткий, с узким трехгранным лезвием, без украшений, но остро отточенный, и лезвие блеснуло в тусклом свете очага, как змеиный глаз. Она всунула его за голенище сапога, прикрыв подолом платья, и почувствовала, как холод металла касается ее ноги. Потом, поколебавшись, вытащила крошечный кожаный мешочек, мать говорила, что это яд, которым мажут наконечники стрел, и что смерть приходит за один вдох, и этот вдох становится последним, как угасание свечи на ветру. Даяна сунула мешочек за пояс, под шелковый кушак, и почувствовала, как сердце колотится где-то в горле, как кровь стучит в висках, как мир сужается до размеров этого кожаного мешочка и стального клинка.

Алтан, её подруга, вдруг заплакала, тихо, по-щенячьи всхлипывая, и зашептала, и слезы текли по ее щекам, оставляя мокрые дорожки:

— Я не хочу умирать, Даяна, не хочу, меня за сына хана сватали, я детей рожать хотела, я хотела видеть, как они растут, как бегают по степи, как учатся держаться в седле...

— Замолчи! — Даяна схватила её за плечи, встряхнула так, что зубы Алтан клацнули. — Слышишь меня? Возьми нож. Спрячь. Если что, не давайся живой. А лучше, молись, чтобы наши войны отбились.

Алтан, всхлипнув, кивнула, и глаза ее наполнились решимостью

Эркежан, закончив с сундуком, сама закопала, привалив сверху камнями, круглыми, гладкими, нагретыми за день солнцем, и велев двум молодым невесткам засыпать землей, которая пахла влагой и корнями трав. Потом выпрямилась, отряхнула ладони.

— Всё. Теперь в центральную юрту. Там бочки с водой уже ставят, для пожара. Если они начнут пускать стрелы с огнем будем тушить пожары.

Пока женщины прятали добро и вооружались кинжалами, мужчины заканчивали последние приготовления. У коновязи стояли оседланные кони, двадцать голов, лучшие из табуна, что отец не взял с собой, и кони чуяли тревогу, косили глазами, били копытами о землю. Самбуу, уже в полном доспехе, перетягивал подпругу на своем вороном жеребце, и кожа подпруги скрипела. Рядом Арслан и Байтаг заряжали мушкеты, засыпали порох из рога, и порох сыпался черной струйкой, пахнул серой и смертью, забивали пули, заколачивали пыжи, и в каждом их движении была торопливая молитва.

— Не пересыпь, — процедил Самбуу сквозь зубы, и голос его был сухим, как трава в июле. — Один ствол я уже порвал. Хватит.

— Твой отец... — начал Арслан, и в голосе его послышалась надежда, тонкая, как паутинка.

— Мой отец за тридцать верст, — оборвал его Самбуу, и в этих словах было столько горечи, сколько может вместить только юное сердце. — Сейчас здесь старший я. И тот старик. — Он кивнул в сторону седобородого ветерана, что стоял у флага, длинного копья с пучком конских хвостов наверху, и эти хвосты развевались на ветру, как черные языки пламени. Это был старый Чойбал, бывший тысячник, еще помнивший походы на китайские крепости, где стены были высоки, а стрелы летели, как саранча. Нога его была сломана давно, хромал, но голос гремел, как горн, и в этом голосе была сила, которой не дают годы, а дает только память о победах.

— Слушайте меня! — крикнул Чойбал, окидывая взглядом два десятка всадников, и взгляд его был острым, как бритва. — Всех женщин и детей в середину аула, в центральную юрту! Там бочки с водой, для пожара. Двое воинов у входа, с мечами, чтобы никто не вышел и никто не вошел. Остальные на коней.

Он взял в руки медный горн, потертый, с вмятинами. И флаг, древко с хвостами, которые трепетали на ветру, как знамена самой судьбы.

— Вы все знаете что делать? Обучались же! Первый звук горна, левый фланг, два, правый, длинный звук, середина. Середина, пять стрелков с мушкетами. Сделали залп, отступили, перезарядились, развернулись и атакуйте с фланга. Не стоять на месте, крутитесь, как волки вокруг быка, как вода вокруг камня.

— А если пойдут в копья? — спросил кто-то из молодых, и голос его дрогнул, потому что копья казахов были длинны и остры.

— Тогда мы их копьями. Потом мечами. Мы ойраты, мы в седле родились, мы с молоком матери впитали запах коня и стали. Их семьдесят, нас двадцать, но за нами стены из коней и стрелы, которые не знают промаха. Держать фланги! — Чойбал поднял горн, и медь блеснула в лучах закатного солнца. — Левый фланг, десять всадников, правый, десять. А в середине, пять моих лучших стрелков. Самбуу, ты со стрелками, у тебя глаз меткий, как у сокола.

— Понял, — кивнул Самбуу, и в этом кивке было столько решимости, сколько бывает только у тех, кто готов умереть, но не сдаться.

Воины разобрали копья, мечи, щиты. Мушкеты, пять штук, зарядили, проверили кремни, и кремни высекали искры, которые пахли победой. В центральной юрте замерли женщины, Даяна слышала, как плачет какой-то младенец. Солнце уже почти село, и длинные тени юрт легли на землю, как полосы траура, как черные повязки на глазах умирающего дня.

Чойбал поднял руку, и все затихли, даже кони перестали фыркать.

— Сейчас, — сказал он негромко, и голос его был тихим, как шелест травы. — Чуете? Земля дрожит.

Даяна припала ухом к войлоку, и войлок был теплым от дневного солнца, и пах овчиной и дымом. И правда, далекий, ровный топот, не табун, не ветер, а десятки копыт, и этот топот отдавался в груди, как второй пульс. Они шли.

— По коням! — скомандовал старик, и голос его прозвучал как выстрел.

Самбуу, сжимая в руке мушкет, взлетел в седло, и конь под ним вздрогнул, и мышцы его перекатывались под кожей, как волны под ветром. Обернулся на миг к сестре, которая выглянула из-за полога, и глаза их встретились, и в этом взгляде было столько невысказанных слов, столько любви, столько прощания. Он сказал одними губами: «Не выходи». И повернулся к степи, откуда уже выплывала из вечерней дымки темная лавина всадников, и эта лавина росла, и росла, и казалось, что ей нет конца.

Первый вал казахов приближался. Аул замер, как загнанный зверь, готовясь к прыжку, и каждый воин слышал биение своего сердца, и каждый молился своим богам, и каждый знал, что эта ночь станет либо последней, либо вечной.

Они шли стеной, плотной, непроницаемой, как скала. Сначала пыль, густая, желтая, пахнущая землей и конским потом, потом земля под копытами загудела, застонала, запела свою погребальную песню, и вот уже из вечерней мглы выплыли первые всадники, темные, плотные, с длинными копьями, с бородатыми лицами, с глазами, горящими ненавистью, на высоких казахских конях, которые, казалось, могли бежать вечно. Даяна, припав к щели в войлоке центральной юрты, считала, и счет этот застревал в горле. Десять, тридцать, пятьдесят, сто! Они всё выходили и выходили из-за бархана, и конца им не было, и каждый новый всадник казался ей ударом молота по голове. Алтан рядом зажмурилась и тихо, одними губами, читала молитву, и губы ее шевелились, как у спящей.

— Не сто, — прошептала Даяна, чувствуя, как холодеют пальцы, как кровь отливает от лица, оставляя кожу бледной, как мел. — Больше, отряд в семьдесят сабель выглядит иначе. Этих полторы сотни, не меньше.

Казахи не стали бросаться в атаку с наскока. Всадники развернулись, вздымая густую пыль, которая оседала на лицах, на одежде, на гривах коней, и начали кружить вокруг аула, медленно, торжественно, как хищники, обходящие стадо, как волки, которые знают, что время работает на них. Кольцо сжималось, но не касалось, и в этом кружении была страшная красота, и неизбежность. Копыта месили землю, и земля стонала под ними, воздух наполнился свистом и топотом, эти крики были похожи на вой шакалов.

А потом они отступили, отошли ровно, дальность полета стрелы, но не более, и там, на пологом склоне, разбили лагерь. Опустились наземь, расседлали коней, и кони встали на колени, и в этом движении было столько усталости, сколько бывает только у животных, которые чувствуют приближение смерти. Разожгли костры, и огонь заплясал, оранжевый, красный, злой, и дым потянулся к небу, как мольба. Хороший бой не начинается с наскока, сначала надо показать силу, напугать, заставить противника совершить ошибку, и они играли в эту игру, как в древний танец.

Пятьдесят всадников отделились от основного стана и выстроились шеренгой, ровной, как лезвие ножа, но изогнутой полумесяцем, рогами к аулу. В центре этого полумесяца, на белом коне, выехал один. Тучный, грузный, с жирным, заплывшим лицом, в котором угадывались черты хищника, но с руками, похожими на кузнечные мехи, в таких и подкова не треснет. На нём был малахай из лисьего меха, макушкой вверх, и мех этот блестел на солнце, как золото. Широкий чапан из верблюжьей шерсти, грубой, колючей, перехваченный черным поясом, на котором висела сабля в простых ножнах, без украшений, но смертоносная. В правой руке, длинное копье с узким, кованым наконечником, который сверкал, как молния.

Батыр. Настоящий. Из тех, кто не на парад выезжает, а ломает хребты, и от одного его вида у молодых воинов сжимались сердца.

— Эй, ойраты! — рявкнул он голосом, от которого, казалось, зазвенела медная посуда в юртах, и в голосе его было столько силы, что ветер стих. — Выходите, кто за старшего! Слово молвить!

Внутри аула Чойбал, хромой тысячник, поправил на древке флаг с конскими хвостами, и хвосты эти коснулись его лица, как последнее прикосновение жизни. Глаза его, выцветшие от времени, смотрели холодно, как лед, и в них не было страха.

— Самбуу, — сказал он негромко, так чтобы слышал только молодой ханский сын. — Едем со мной. Ты, ханский сын, твое слово вес имеет, тебя они будут слушать, потому что в твоих жилах течет кровь Багатура. А я, старик, мне терять нечего, я уже прожил свои годы и увидел достаточно. Если заколют, ты скачешь назад, и я приму смерть лицом к врагу, как и подобает воину.

— Я не боюсь, — ответил Самбуу, хотя кадык его дернулся, а пальцы, сжимавшие поводья, побелели от напряжения, и в горле пересохло, и каждое слово давалось с трудом.

— Боишься, — усмехнулся Чойбал, и в этой усмешке было понимание. — И правильно. Смелый тот, кто боится, но едет. А кто не боится, тот дурак и до обеда не доживет, и кости его склюют вороны.

Они выехали за околицу аула, двое всадников на фоне двадцати вооруженных защитников, замерших с копьями наперевес. Самбуу, в блестящей кольчуге, которая переливалась в лучах уходящего солнца, с мечом на боку и щитом за спиной, на котором были нацарапаны древние руны. Чойбал, в старом, дорогомм доспехе, с флагом в левой руке и горном в правой, и флаг трепетал на ветру, как живое существо. Остановились в пятидесяти шагах от казахов, и кони под ними захрапели.

Батыр на белом коне приблизился, но не вплотную, конь под ним храпел, косил глазом на ойратов, в этом взгляде было предчувствие смерти.

— Я, Бексултан, военачальник хана Баймурзы, — сказал он, не слезая с коня, и голос его был низок и гулок, как колокол. — Глядите, ойраты: нас сто пятьдесят сабель. Ваших, два десятка. Вы окружены, как овцы в загоне. Детей и женщин прячете в юрте, как мышей в норе. — Он усмехнулся, обнажив редкие, желтые зубы, и усмешка эта была похожа на оскал волка. — Сдавайтесь. Тогда я дарую вам смерть быструю. Мужчинам, стрела в сердце, женщинам, удар кинжала, детям, сон вечный. Скот угоним, аул сожжем, пепел развеем по ветру, чтобы и памяти не осталось. Если сдадитесь без боя, возможно, некоторых оставлю в рабах, они будут пасти моих овец и носить воду для моих жен. Решайте, время не ждет.

Чойбал и Самбуу переглянулись, и в этом взгляде было понимание умереть вместе. Старик кивнул, и они отошли в сторону шагов на десять, достаточно, чтобы говорить негромко, но чтобы враг видел, они советуются.

— Слышал? — прошептал Чойбал, не сводя глаз с батыра, и голос его был тих. — Говорит, смерть быструю дарует. А сам в рабство возьмет. Значит, боится, что перебьем мы половину его отряда, прежде чем погибнем. Значит, есть в нем слабина.

— Что делать, дедушка? — спросил Самбуу, и голос его вдруг как у мальчика которую он прятал за маской воина.

— Сразимся и погибнем, — ответил Чойбал просто. — Но умереть надо так, чтобы они запомнили. Чтоб их дети и внуки рассказывали: «В том ауле ойраты стояли насмерть, как скалы, как древние курганы». Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, и ты это знаешь не хуже меня. Ты согласен, ханский сын?

Самбуу поднял голову, и в глазах его, которые ещё утром смеялись над псом Карабашем, который гонял кур, теперь горел сухой, жестокий огонь, тот самый, который не тушит ни вода, ни слезы.

— Согласен, — сказал он, и голос его был тверд, как камень. — Пусть знают: Самбуу, сын Багатура, не торгует жизнью и не просит пощады.

Они вернулись к батыру, и кони под ними затанцевали от напряжения. Чойбал выпрямился, насколько позволяла больная нога. Проговорил громко, чтоб слышали и казахи, и свои, чтоб слово его разнеслось по степи, как эхо:

— Мы, ойраты, не сдаемся, и не просим пощады, и не торгуем честью. Но мы не звери, чтобы резать друг друга в темноте. Предлагаю тебе, Бексултан, честный степной торг, древний, как эти холмы. Три поединка. Выставишь трех своих батыров, мы выставим трех своих. До первой крови, до падения с коня, до смерти, как решишь. Если мы выиграем, вы уходите, клятвой поклянетесь не возвращаться, и слово ваше будет тверже скалы. Если вы выиграете, мы отдадим вам всё оружие, всё имущество, скот, даже рабов, если б они у нас были. Но вы сохраните жизнь каждому в этом ауле, женщинам, детям, старикам, каждому, кто дышит. И мы уйдем, и никто не будет убит после боя, и кровь прольется только в честной схватке. Согласен?

Батыр Бексултан нахмурил жирный лоб, и складки на его широком лице собрались в глубокие борозды, похожие на трещины в пересохшей земле. Он тяжело, будто ворочая каменные жернова, обвел взглядом аул: серые, прокопченные дымом юрты, тонкую струйку пара над казаном с куырдаком, замерших в седлах всадников и женщин, что припали к щелям в войлоке центральной юрты, как перепуганные птицы. Потом перевел взгляд на своих воинов, полторы сотни человек, которые ждали его слова, затаив дыхание что воздух, казалось, звенел. Глаза его, заплывшие жиром, сузились до щелочек, и в них мелькнула злая искра. Губы его, тонкие и бледные, скривились в усмешке, больше похожей на оскал старого волка, почуявшего добычу. Он медленно которая дается только долгой властью и прожитыми годами, покачал головой.

— Нет, — сказал он, и голос его вдруг стал тихим, этой тишины по спинам ойратов пробежали мурашки, и волосы на затылках встали дыбом. — Ты, старик, говоришь о честном бое, о древнем степном торге, о поединках, где решает сила и ловкость. А где была ваша честь, когда вы, ойраты, пришли на наши земли с огнем и мечом? Где был ваш договор, когда вы грабили наши аулы, жгли юрты дотла, угоняли женщин и детей в рабство, как скот на осеннем торгу? Вы не давали нам ни малейшего шанса, ни переговоров, ни жалости, ни даже времени, чтобы собрать кости наших предков и оплакать мертвых. Вы — звери, ойраты, дикие звери, которые не знают слова «пощада» и не ведают, что такое милость. А зверей не судят поединками, зверей не вызывают на честный бой, зверей убивают, как бешеных собак, чтобы не заразили весь мир своей безумной жестокостью.

Чойбал молчал, и лицо его было неподвижно, как каменная маска, только желваки ходили под старой, обветренной кожей, да пальцы сжимали древко флага так, что побелели костяшки. Самбуу сжал поводья так, что кожаные ремни впились в ладони, и он почувствовал, как горячая, липкая кровь прилила к вискам, как сердце забилось где-то в горле, мешая дышать.

— Ваша участь, — продолжил Бексултан, обводя рукой аул презренно — либо рабство, где вы будете пасти моих овец и мыть ноги моим женам, либо смерть, быстрая или медленная, как я решу. Хоть вы все тут ляжете, до последнего мужчины, хоть перебьете половину моих воинов, я не отступлю, ибо земля, на которой вы стоите, полита кровью моих предков, и каждый камень здесь помнит их стоны и молитвы. Вы пришли на эту землю как воры, как шакалы, и теперь вы заплатите за каждую каплю пролитой крови.

В этот момент Самбуу дернул коня вперед, и вороной жеребец под ним взвился на дыбы, выбрасывая копытами комья земли. Глаза его горели бешенством, голос сорвался на крик в нем была черная ярость обреченного зверя, загнанного в угол готового рвать зубами собственные вены.

— А ты знаешь, кто мы, жирный пес?! — закричал он, вскинув руку плеть рассекла воздух со свистом. — У каждого моего воина по мушкету, и каждый из них положит двоих, троих, пятерых из вашей своры, прежде чем упасть, прежде чем кровь зальет ему глаза! Вы,

жалкие всадники с луками из бараньего рога и копьями, что гнутся от первого удара, а у нас огненный бой, у нас порох, который жжет и рвет, у нас пули, что не знают промаха! Вы знаете, какие мы воины, вы слышали наши имена еще в колыбели, когда матери пугали вас нашими рассказами! Степь не рождала свирепее нас, и ветер не носил более грозных кличей! Мы резали китайцев под Великой стеной, где их было в десять раз больше, мы брали крепости, где ваши деды пасли овец и доили кобылиц, мы прошли от Алтая до Каспия, и везде за нами оставались только пепел и стоны! Наши женщины, если увидят, что дело проиграно и надежды больше нет, сами зарежут себя и детей, перережут горлышки своим кинжалами, чтобы вам не досталась ни одна девушка, ни один щенок! А мой отец, — Самбуу перевел дух, и голос его стал низким— мой отец, Багатур-хан, великий волк степи, сокрушитель врагов, отец тысяч воинов. Вы знаете это имя, оно гремит от Урала до Тянь-Шаня. Он вернется через месяц, а может, и раньше, если ветер донесет ему весть о беде. И когда он узнает, что вы сделали с его аулом, с его очагом, с его детьми, он поднимет всадников, он соберет все роды, какие только знает, и двинется на вас, как самум, как лавина, как огонь, пожирающий сухую траву. Он выжжет ваши стойбища дотла, он перережет ваших младенцев у груди матерей, он загонит ваших стариков в соляные болота, где они будут умирать по три дня от жажды и боли, он не оставит никого, даже пса, чтобы оплакать вас. Вы не просто исчезнете с лица земли, вас проклянут ваши же дети за то, что вы навлекли такую страшную беду на свой род, и имена ваши будут забыты, как забывают имена павших шакалов!

Наступила тишина. Казахи переглянулись, и в их глазах промелькнула тень сомнения. Некоторые невольно оглянулись на горизонт, туда, где за тридцать верст, кочевал хан со своей тысячей отборных воинов. Имя Багатура гремело в степи, как гром в летнюю ночь, и его боялись так же, как боятся смерти и голода. Старый волк, ни разу не проигравший битвы, жестокий, быстрый он мог появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда, оставляя за собой только трупы и пепел.

Бексултан долго молчал. Потом, не сказав ни слова, он развернул коня. Он поехал к своему лагерю, тяжелый. Полсотни всадников ждали, не шелохнувшись. Он скрылся среди них, и начался совет, тихий, злой, с резкими выкриками, которые долетали до ойратов обрывками, похожими на лай собак.

Самбуу и Чойбал стояли, и время тянулось. Каждая минута длилась. Луна уже показалась из-за холма.

Наконец Бексултан вернулся, и лицо его было непроницаемо. Ни один мускул не дрогнул, ни один взгляд не выдал его мыслей.

— Слушайте, ойраты, — сказал он — Мы приняли решение, и оно будет окончательным.

Он поднял руку, призывая к вниманию.

— Будет поединок, как ты просил, старик. Три боя, три удара, три судьбы. Но не на жизнь, как ты предлагал, а до смерти, до последнего вздоха, до последней капли крови, до того момента, когда душа покинет тело. Если вы выиграете все три боя, мы пощадим ваш аул, и никто не тронет ни женщин, ни стариков, ни детей, даже волос не упадет с их голов. Но, — он сделал паузу, и в глазах его блеснула жестокая, как осколок льда, усмешка, — дети хана поедут с нами. Все до одного. Заложниками, чтобы ваш отец не думал о мести. Мы не тронем их, поклянусь Всевышним Аллахом, Святым и Великим, и жизнью моих сыновей. Они будут жить в моем ауле как гости, как почетные пленники, у них будет еда, и кров, и теплая одежда. А если ваш отец, Багатур-хан, захочет их выкупить, пусть приезжает с миром, с золотом, с серебром, с хорошими конями, и мы будем торговаться, как и подобает степным людям.

Самбуу открыл рот, и лицо его исказилось от гнева, но Чойбал, старый воин, жестом заставил его молчать, положив тяжелую, костлявую руку ему на плечо.

— Если же выиграем мы, — продолжил Бексултан, и голос его стал холодным, как зимняя вода в горной реке, — вы отдаете нам всё имущество без остатка. Оружие, скот, ковры из

Бухары, посуду, серебро, золото, даже иголки и нитки. А сами уходите всем аулом, куда хотите, хоть к вашему хану, хоть в пустыню, хоть в горы, хоть на край земли. Но, — он ткнул копьем в сторону Самбуу, и острие сверкнуло в лунном свете, как змеиный зуб, — в любом исходе ты, ханский сын, поедешь со мной. И твои братья и сестры, и твои двоюродные братья, и все дети Багатура, все, кто носит его кровь. Это условие не обсуждается, и если вы откажетесь, я сочту это нарушением переговоров. Клянусь Аллахом, я отпущу всех остальных, кроме сыновей и дочерей хана, их я заберу с собой, и они будут живы до тех пор, пока ваш отец не заплатит выкуп.

Самбуу побледнел, и лицо его стало серым, как пепел угасшего костра. Он обернулся на аул, туда, у щели в войлоке мелькнуло бледное, как луна, лицо Даяны, и он увидел ее глаза, полные ужаса и любви. Сестра слышала каждое слово. Мать, наверное, тоже, и сердце ее сейчас разрывается от боли.

— А если мы откажемся? — спросил Чойбал, и голос его был спокоен, но в нем слышалась сталь, та самая, которая не гнется, а ломается. — Что тогда?

— Тогда, — Бексултан широко, страшно улыбнулся, обнажив желтые, редкие зубы, и улыбка его была похожа на пасть акулы, — вы все умрете здесь, каждый, до единого, включая младенцев в колыбелях. Дети, женщины, старики, все, кто дышит, все, кто имеет голос, будет залито кровью. И мы все равно заберем скот и оружие, потому что мертвым они не нужны. Но заложников у нас не будет, и ваш отец придет на пепелище и не найдет даже костей своих детей, чтобы оплакать их по обычаю. Выбирайте, ойраты, и выбирайте быстро, потому что ночь коротка, а утро приносит либо жизнь, либо смерть.

Чойбал и Самбуу снова отошли в сторону, и кони под ними вздохнули, будто чувствуя тяжесть этого разговора. Старик оперся на древко флага, и лицо его было печальным, как осеннее небо.

— Он хитрее, чем кажется, этот жирный батыр, — прошептал Чойбал, и в голосе его слышалось уважение к врагу, которое приходит только с годами. — Заложники — это не просто наказание, это гарантия, что твой отец не придет мстить сразу, как только узнает о набеге. Пока вы живы и пока вы у него, он будет торговаться, выжидать, обменивать, а не воевать. А время, как вода, оно размывает даже самые твердые камни.

— Я не отдам сестру, — прошипел Самбуу, и голос его дрожал от ярости и отчаяния, и в горле пересохло, как в пустыне. — Я не отдам Даяну, не отдам младших братьев, не отдам никого из нашего рода этому жирному псу, этой степной свинье, чтобы он смотрел на них своими маслеными глазами и думал о выкупе!

— А если мы выиграем поединки? — возразил Чойбал, и в голосе его звучала суровая правда. — Тогда они уходят, это правда. Но детей все равно заберут, это условие не меняется, и никакие наши победы не отменят этого. Он сказал это при всех, при своих и при наших, и если он отступится, он потеряет лицо перед своими воинами, а батыр без лица — это уже не батыр.

— Значит, надо убить их всех в поединках, — сказал Самбуу, и голос его был тверд, как камень, и в нем слышалась решимость обреченного. — Трех лучших батыров, их гордость, их силу, их опору. Показать им такую силу, такой гнев, такую ярость, чтобы они побоялись связываться с нами вовсе, чтобы они поняли, что даже если возьмут заложников, отец придет и вырвет их из самого ада.

— Не уберутся, — вздохнул Чойбал, и в этом вздохе было столько усталости, сколько бывает у человека, прожившего долгую жизнь и видевшего много смертей. — Но хотя бы мы умрем с честью, и наши имена останутся в песнях, и наши духи будут смотреть на нас с гордостью. А дети хана, — он помолчал, и голос его стал тише, — в степи всякое бывает. Дорога длинная, и ночи темные, и кони иногда спотыкаются, и люди иногда исчезают, как сон. Может, сбегут, пока будут везти, может, их выкупят, может, отец выменяет их на золото и коней. Лучше так, чем смерть всем, лучше так, чем пепелище и плач над костями.

Самбуу стиснул зубы так, что скулы на его лице заострились, и в глазах его зажглась та холодная, жестокая искра, которая зажигается в сердцах молодых воинов перед последней битвой. Обернулся к Бексултану, и голос его не дрогнул, хотя внутри у него все сжималось от страха и боли.

— Согласны, — сказал он, и в этом слове было столько горечи, сколько может вместить только человеческое сердце. — Но клянись еще раз, при всех, при ваших и при наших, при звездах и при луне, что никто, кроме ханских детей, не будет убит и не будет уведен в рабство, что старики умрут своей смертью, а женщины не познают насилия.

Бексултан поднял правую руку к небу, где уже зажглись первые, холодные звезды, и голос его зазвенел в ночной тишине, как колокол:

— Клянусь Всевышним Аллахом, Святым Он и Велик, и жизнью моих сыновей, и честью моего рода, и памятью моих предков, и солью земли, на которой мы стоим: если вы выиграете поединки, ваши люди будут свободны, как ветер. Они уйдут туда, куда пожелают, и никто их не тронет, никто не поднимет на них руку, даже не взглянет косо. Если выиграем мы, вы отдадите имущество и уйдете, и мы не будем преследовать вас, если вы не вернетесь. А дети хана поедут со мной, но останутся живы и невредимы, сыты и одеты, пока их отец не заплатит выкупНарушивший клятву да будет проклят в этой жизни, и в следующей

— Да будет так, — ответил Чойбал, и голос его был тверд, как сталь.

Самбуу развернул коня, и вороной жеребец, чувствуя настроение хозяина, рванул с места, взметая комья грязи. Он поскакал в аул, чтобы выбрать трех воинов, которые завтра на рассвете выйдут против казахов, чтобы решить судьбу всего аула тремя ударами меча. Сердце его колотилось где-то в горле, и каждое биение отдавалось в висках, и он чувствовал, как пот стекает по спине под тяжелой кольчугой. Позади, у щели в войлоке, Даяна сжимала в кармане кинжал, и пальцы ее побелели от напряжения, и маленький мешочек с ядом лежал рядом, как последний билет к свободе. Она знала: если поединок будет проигран, она не поедет в рабство к толстому батыру, не будет смотреть в его жирные глаза и слушать его хриплый смех. У нее есть свой план, и этот план называется смерть, быстрая и безболезненная, как сон.

Ночь опустилась на степь, холодная, звездная, полная запаха полыни и железа, и в этом запахе смешались страх и надежда, отчаяние и решимость. До рассвета оставалось шесть часов, и каждый час был как вечность, и каждая минута была как удар сердца. Шесть часов, чтобы выбрать между смертью и жизнью, между честью и позором, между свободой и цепями.

Поединок

Утро пришло нежданно, как удар в спину, серое, туманное, с тяжелой росой на войлоке юрт, которая стекала по стенам, как слезы, и с красным, как запекшаяся кровь, солнцем на востоке, которое выползало из-за горизонта, будто раненый зверь. Степь молчала. Даже ветер, вечный болтун и сплетник, притих, словно понимал, что сегодня здесь будут говорить только мечи, только копья, только сталь и ярость.

Самбуу не спал всю ночь, и глаза его были красными, как у загнанного волка. Он сидел у очага, и угли догорали, отбрасывая на его лицо багровые отблески, и он чистил клинок, проверял кольчугу, каждое колечко, каждую заклепку, каждое звено, и пальцы его двигались с механической точностью, потому что руки помнили то, что забыла голова. Рядом, в той же юрте, готовились Арслан и Байтаг, его друзья, его братья по оружию, его товарищи по играм и битвам. Двое воинов, с которыми он резал верблюда на праздниках, колол дрова для очага, смеялся над псом Карабашем и его дурацкими ужимками, с которыми он пил кумыс и мечтал о будущих походах. Теперь они смотрели друг на друга молча, и в их взглядах было столько боли, что слова стали лишними, как цветы в степи перед пожаром.

— Первым выхожу я, — сказал Арслан, широколицый, с руками, покрытыми старыми шрамами от тренировок, и голос его был глухим, как удар барабана. — Я сильнее вас обоих, у меня рука тверже, и удар тяжелее. Если я убью своего врага, если я положу его на землю и отсеку его башку, у вас будет легче на душе, и вы пойдете в бой с верой в победу.

— Нет, — возразил Байтаг, тот, что коптил мясо и умел смешить людей даже в самые черные дни, и голос его был тихим, но твердым, как старый дуб, который не сломить ветру. — Ты горяч, Арслан, и ты ударишь первым, как учили деды, а в этом бою надо не просто бить, а думать, как шахматист, как охотник, как змея, которая ждет своего часа. Ты ударишь, и враг уйдет, а потом вернется и убьет тебя. Я пойду вторым, я буду смотреть, я буду учиться, я буду искать слабину в их доспехах, в их душах, в их конях.

Самбуу поднял голову, и глаза его покраснели от бессонницы, но взгляд был тверд, как кремень, и в нем не было ни капли сомнения.

— Я пойду третьим, — сказал он, и голос его был низким и спокойным, как гладь воды перед бурей. — Если мы выиграем два первых боя, если мы убьем двух их батыров, третьим будет страх в их глазах, и мой враг будет биться не со мной, а с собственным ужасом. Если мы проиграем один, если кто-то из нас упадет, на мне вся надежда, и я не подведу, клянусь душой отца. Так решили, так и будет. А теперь, к матери, к сестре, перед смертью надо проститься.

Он вышел из юрты, и холодный утренний воздух ударил в лицо, обжег щеки, заставил глаза слезиться. Роса холодила босые пятки, но он не чувствовал холода, потому что внутри у него горел огонь, который не тушит никакая вода. Ноги сами принесли его к шатру Эркежан, и сердце колотилось так сильно, что он слышал его стук в висках, в ушах, в кончиках пальцев. Мать стояла у входа, прямая, как ствол карагача, который не гнется под ветром, лицо ее было спокойно, как у статуи, только пальцы теребили край платка, и в этом движении была вся ее тревога.

— Матушка, — сказал Самбуу, и голос его дрогнул, и в горле застрял колючий ком, который не проглотить. — Если я паду в бою, если моя кровь окрасит эту землю, расскажи отцу, когда он вернется. Расскажи, каким я был, что я не струсил, что я не опозорил наш род, что я бился до последнего вздоха, до последней капли крови, до последнего удара сердца.

Эркежан медленно, как в тумане, подошла к сыну. Ее жесткая, обветренная ладонь, пахнущая дымом и мукой, легла на его щеку, еще безбородую, мальчишескую, и в этом прикосновении было столько нежности, сколько бывает только у матерей, провожающих детей на войну.

Она погладила его, как когда-то, маленького, прижимала к груди, когда он плакал от боли или обиды, и в этом жесте была вся ее жизнь.

— Ты, сын Багатура, — сказала она тихо, но твердо, и голос ее звенел, как тетива, и в нем не было ни слез, ни страха, только гордость. — Ты, моя кровь, моя плоть, мое сердце, которое сейчас бьется отдельно от меня. Не посрами наш народ, не дай врагам смеяться над именем твоего отца, над честью твоей матери. Будь храбрым, будь стойким, будь как сталь, которая не гнется. И помни, даже если упадешь, падай лицом к врагу, чтобы он видел твои глаза, чтобы он знал, что ты не боишься. Тогда духи предков примут тебя в свои ряды, и ты будешь вечно скакать в небесной степи с воинами, которые не знали поражений.

Она поцеловала его в лоб сухими, горячими губами, и этот поцелуй обжег, как клеймо, как прощальный знак. И отступила, и в ее глазах блеснули слезы, но она не позволила им пролиться.

В этот момент из-за полога выскочила Даяна, как вихрь, как ветер, как испуганная птица. Она бросилась к брату, обхватила его за шею, прижалась к железной кольчуге, и зарыдала громко, по-детски, не стесняясь слез, не скрывая отчаяния. Алтан, ее подруга, стояла рядом и тоже плакала, закрывая лицо рукавом, и плечи ее вздрагивали от рыданий.

— Самбуу, братец, не умирай! — шептала Даяна, прижимаясь к нему всем телом, и голос ее срывался на крик, на стон, на мольбу. — Пожалуйста, не умирай, я не хочу остаться без тебя, без твоих шуток, без твоих глаз, без твоей улыбки, ты единственный, кто у меня есть, кроме матери!

— Тише, сестра, тише, — Самбуу обнял ее одной рукой, чувствуя, как дрожат ее плечи, как бьется ее сердце, как горячие слезы текут по его руке. — Тише, я вернусь, обещаю тебе, мы все вернемся, и Арслан вернется, и Байтаг, и старый Чойбал, и каждый, кто выйдет сегодня на поле. Ты еще сошьешь мне камзол, ты же знаешь, как я люблю твои кривые стежки, как я ругаюсь на тебя, а ты смеешься, и мы снова будем драться из-за пса Карабаша, который все ворует мясо с казана. Обещаю тебе, все будет хорошо.

— Обещаешь? — подняла на него заплаканные глаза Даяна, и в них была надежда, тонкая, как паутинка, хрупкая, как стекло.

— Обещаю, — солгал он, и оба знали, что это ложь, что он не может обещать, что не может вернуть то, что уже ушло.

Алтан, всхлипывая, взяла Самбуу за руку, и пальцы ее дрожали, как листья на ветру.

— Ты только, того, — пробормотала она, и голос ее был слабым, как шепот, — не дай этому жирному казаху, не дай ему победить, ты сильнее его, ты лучше его, ты сын хана, а он просто степной пес.

— Не дам, — усмехнулся Самбуу, и в этой усмешке было столько горечи, сколько бывает только у тех, кто идет на смерть. И, резко развернувшись, он пошел к коням, и каждый шаг его был тяжел, как последний шаг осужденного.

Поле боя расстелилось между аулом и лагерем казахов, ровная, вытоптанная за ночь полоса земли, серо-желтая, мертвая, посыпанная пеплом от костров и конским навозом, пахнущая потом и страхом. С обеих сторон собрались зрители, ойраты, молчаливые, суровые, с оружием наготове, и в их глазах была реши

Самбуу выехал на поле, и земля под копытами его вороного жеребца загудела, застонала, будто сама степь провожала его в последний путь. Сердце его билось ровно, хотя ладони потели, и холодный липкий пот стекал по спине под тяжелой кольчугой, а во рту пересохло так, что язык прилип к нёбу, и каждое дыхание давалось с трудом, словно воздух превратился в густой кисель. Против него из казашьего стана, раздвигая толпу, как ледокол воду, выехал здоровяк, не тот Бексултан, но тоже батыр, настоящий степной богатырь, с лапищами, похожими на лопаты, которыми землю копают, и бычьей шеей, на которой мышцы перекатывались, как камни под кожей. Кольчуга на нем была грубая, самодельная, из крупных, неровных колец, но

толстая, тяжелая, и каждое кольцо было склепано так крепко, что и стрела не пробьет. Шлем с острым шишаком, который сверкал на солнце, как ледяная сосулька, и из-под него свисала кольчужная сетка, закрывавшая лицо до самого подбородка. В руках, огромных, жилистых, покрытых шрамами и волосами, он держал двуручный меч, какой степняки редко используют, потому что он тяжел и неуклюж в конном бою, но этот здоровяк держал его так легко, будто это была ивовая веточка.

— Иди сюда, щенок ойратский! — рявкнул казах, и голос его прокатился над полем, как раскат грома, заставив птиц в небе шарахнуться в стороны. — Иди сюда, я вырву твое трепетное сердце прямо из груди, еще бьющееся, и скормлю его своим собакам, а твою голову поставлю на копье, чтобы все видели, как погибают ханские сыновья, когда выходят против настоящих воинов!

Они съехались, и кони под ними столкнулись грудью, захрапели, закусили удила, и копыта заскребли по сухой земле, взметая облака пыли, которая оседала на лицах, на доспехах, на гривах лошадей. Первый круг, пробный, как танец хищников перед смертельной схваткой, и сразу удар, страшный, молниеносный, от которого воздух свистнул, как рассекаемая сабля. Казах рубанул сверху вниз с такой силой, что Самбуу едва успел подставить щит, и щит разлетелся на куски, как гнилое полено, как трухлявая доска, которую перебили пополам одним ударом, и осколки разлетелись в разные стороны, звякнув о землю. Самбуу отбросил обломки, выхватил кинжал левой рукой, и пальцы его сжали рукоять так крепко, что побелели костяшки, меч держал правой, и клинок дрожал в его руке, будто живой. Казах наседал, наседал, как медведь на загнанного зайца, и удары сыпались градом, тяжелые, как камни, как молоты кузнеца, от которых звон стоял в ушах и искры летели из-под клинков. Самбуу уклонялся, отбивался, и каждое движение его было отчаянным танцем на краю пропасти, но сила была не на его стороне, и руки его уже начинали дрожать от напряжения, а дыхание сбивалось, становясь хриплым и рваным.

Сшибка, и кони столкнулись грудью с таким грохотом, будто две скалы встретились в ущелье, и всадники схлестнулись в едином клубке, и оба рухнули наземь, подняв облако пыли, которая забила глаза и рот. Самбуу ударился головой о землю, и перед глазами вспыхнули звезды, тысячи огней, сотни искр, и сознание померкло на миг, и темнота обступила его со всех сторон, как мягкая вата. Но инстинкт, тот самый древний инстинкт зверя, который не спит никогда, поднял его на ноги, и он вскочил, шатаясь, чувствуя, как кровь струится по лицу из рассеченной брови. Казах уже вставал, тяжело дыша, как кузнечный мех, и глаза его горели бешенством, и пена выступила на губах.

Бой продолжился на земле, и это была совсем другая схватка, где нет коней и нет правил, где решают только сила и хитрость, где каждый удар может стать последним. Казах был сильнее, и каждый его удар отбрасывал Самбуу назад, и ноги его скользили по песку, и он чувствовал, как силы тают, как мышцы наливаются свинцом, как дыхание становится все короче и хриплее. Самбуу был быстрее, он вертелся ужом, уклонялся, нырял под удары, как ласточка под струями дождя, но силы его таяли на глазах, и пот заливал глаза, и соленый вкус его смешивался с кровью. Казах в конце концов, улучив момент, выбил меч из его руки, и клинок, звякнув, отлетел в сторону, а затем выбил и кинжал, и он упал в пыль в двух шагах. Самбуу остался безоружен, и в груди его холодом разлилось отчаяние.

Казах рассмеялся, и смех его был похож на грохот камней, скатывающихся с горы, на рев быка, почуявшего кровь. Он схватил Самбуу своими огромными лапищами, поднял его над головой, как мешок с мукой, как тряпичную куклу, и бросил через себя борцовским приемом, с такой силой, что земля под Самбуу вздрогнула. Самбуу грохнулся на землю, и кольчуга лязгнула, и кости его застонали от боли, и в глазах снова потемнело. Казах подошел, поднял его снова, и в руках его чувствовалась такая мощь, что Самбуу казался ребенком в руках великана, и бросил снова, еще сильнее. В третий раз, особенно сильно, с разворота, и Самбуу описал дугу

в воздухе, как птица со сломанным крылом, и грянулся о землю, и весь мир на миг взорвался болью. Казахи в лагере ржали, как кони, и их хохот стоял над степью, как погребальный звон. Ойраты замерли в ужасе, и лица их были белыми, как мел, и никто не мог вымолвить ни слова, и Арслан закусил губу до крови, а Байтаг отвернулся, не в силах смотреть на гибель друга.

В третий раз, падая, Самбуу, сквозь туман боли и пелену крови, заливающей глаза, увидел кинжал, тот самый, который выбили из его руки. Кинжал лежал в двух шагах, в пыли, и сталь его тускло блестела в лучах солнца, как последняя надежда, как змея, свернувшаяся в кольцо. Самбуу, не думая, не рассуждая, движимый чистым инстинктом выживания, изловчился, собрал все остатки сил в один рывок, схватил кинжал в падении, и пальцы его сомкнулись на рукояти с мертвой хваткой. И когда казах наклонился над ним, чтобы поднять его в четвертый раз и снова швырнуть о землю, он ударил. Вверх. Всадил лезвие по самую рукоять, с такой яростью, с такой ненавистью, с такой отчаянной силой, что у него самого хрустнули кости в запястье.

Казах взвыл, и вой его был подобен вою раненого волка, попавшего в капкан, подобен крику умирающего зверя. Кинжал вошел в него снизу, в задницу, в самое уязвимое и унизительное место, и это было страшное, позорное ранение, от которого кровь хлынула темным потоком, заливая штаны и кольчугу. Огромный батыр взревел, как раненый бык, и на секунду разжал хватку, и в этой секунде была вся его жизнь, вся его сила, вся его гордость. Этого хватило. Самбуу вырвался из его рук, откатился в сторону, и земля приняла его, и он вскочил на ноги, шатаясь, и побежал к своему мечу, который лежал в пыли, ожидая своего часа.

Но казах, истекая кровью, но движимый яростью, яростью загнанного зверя, который хочет умереть, но убить врага, догнал его, схватил за плечи, и пальцы его впились в кольчугу, как когти орла, начал вязать руки, мертвой хваткой, от которой кости трещали. Самбуу вертелся, пытаясь освободиться, извивался, как уж, как змея, как рыба в сетях, но могучие руки сжимали его, как железные обручи, как стальные тиски, и с каждым мгновением дыхание его становилось все короче, все труднее. Тогда, собрав последние силы, последнюю искру жизни, последнюю надежду на спасение, Самбуу, у которого в правой руке все еще был кинжал, второй, запасной, спрятанный в рукаве и никем не замеченный, свободной рукой вонзил лезвие прямо в глаз казаху. Клинок вошел в глазницу с мягким, противным хлюпаньем, пронзил мозг и вышел через затылок.

Кровь брызнула, черная, густая, как масло, и смешалась с сукровицей, и брызги ее попали на лицо Самбуу, обожгли, как кипяток. Казах замер, и тело его дернулось в судороге, и пальцы его разжались, и он пошатнулся, и рухнул, как подкошенный дуб, как скала, обрушившаяся в пропасть. Дернулся раз, другой, конвульсивно, судорожно, и затих, и глаза его застекленели, глядя в пустое небо.

Самбуу стоял над ним, и грудь его ходила ходуном, и он тяжело дышал, каждым вдохом раздирая горло, весь в чужой крови, и руки его дрожали, и кинжал в руке дрожал, как осиновый лист. Он медленно, с трудом поднял свой клинок к небу, и клинок сверкнул в лучах солнца, как молния, как звезда, упавшая в степь. И в этом жесте было столько торжества, столько боли, столько освобождения, что дух захватывало.

Наступила тишина. Такая глубокая, что слышно было, как бьются сердца сотен людей, как потрескивает пот на раскаленной земле, как ветер шепчет над могилами предков. А потом ойраты взорвались криками, и крики эти были полны восторга, ликования, освобождения, и они махали шапками, и хлопали себя по бедрам, и плакали, и смеялись одновременно. А казахи молчали, и лица их были серыми, как пепел, и в глазах их была пустота, и никто не шелохнулся, никто не выкрикнул проклятия, потому что три боя, три смерти, и все их лучшие воины, их гордость, их надежда, лежали в пыли, обезглавленные, истекающие кровью, превратившись в куски мяса.

И тогда из стана казахов, раздвигая толпу, выехал Бексултан, и лицо его было чернее тучи, чернее самой черной ночи, и глаза его горели холодным огнем, в котором смешались ярость, унижение и страх.

— Вы выиграли, — сказал он, и голос его был сухим, как песок в пустыне, и каждое слово давалось ему с трудом, будто он глотал битое стекло. — Три боя, три победы, вы убили моих лучших батыров, и ваша сила достойна уважения, но договор есть договор, и слово есть слово, и я не отступлю от клятвы. Дети хана, наши заложники, и это условие не меняется, и вы не можете его изменить. Собирайтесь, и собирайтесь быстро, потому что через час мы уходим, и вы, Самбуу, и ваша сестра, и все ваши братья, все, кто носит кровь Багатура, поедете с нами, и это не обсуждается.

Самбуу, шатаясь от усталости, от боли, от потери крови, которая струилась по лицу и капала на землю, посмотрел на аул. На мать, стоящую у центральной юрты, прямую, как стрела, как скала, как вековой дуб, и лицо ее было спокойно, и только пальцы теребили платок, и в этом движении была вся ее боль. На сестру, которая сжимала в дрожащей руке кинжал, спрятанный под камзолом, и пальцы ее побелели от напряжения, и глаза ее горели решимостью, и она смотрела на брата так, будто видела его в последний раз. И понял, что их плен только начинается, и эта дорога будет долгой, и неизвестно, что ждет их в конце.

А впереди была долгая дорога, и каждый шаг по ней был как шаг в неизвестность.

Долгая дорога

Самбуу и Даяна стояли у коновязи, и кони фыркали и перебирали ногами, чувствуя тревогу хозяев, глядя, как мать укладывает в переметные сумы последние припасы, как пальцы ее двигаются быстро и точно, но в каждом движении чувствуется дрожь, которую она не может скрыть. Эркежан была спокойна, слишком спокойна, как женщина, которая уже выплакала все слезы в бессонную ночь, когда луна стояла высоко и холодно, и теперь делала то, что должно, то, что велит долг матери: кормила детей в дорогу, давала им шанс выжить.

— Вот сушеное мясо, — говорила она, завязывая кожаный мешок, и голос ее звучал ровно, будто она читала молитву. — Берегите его на черный день, на тот час, когда есть будет нечего и голод начнет грызть живот. А это курт, шарики из сушеного творога, они долго лежат, не портятся, сытные и вкусные, кисловатые, но голод не будет мучить, и силы они дают. — Она сунула в руки Даяне тряпицу с десятком белых, твердых, как камешки, шариков, и в этом жесте было столько заботы, что у Даяны сердце разрывалось. — И бурдюк с верблюжьим молоком, оно густое, жирное, не прокиснет даже в самую страшную жару, и в нем вся сила степи.

Даяна приняла припасы, прижала их к груди, и горячие слезы навернулись на глаза, но она не позволила им пролиться. Молчала, потому что слова застряли в горле, как колючие комья, которые невозможно проглотить. Самбуу, уже в седле, сжимал поводья так, что кожаная оплетка впивалась в ладони, и смотрел на мать в последний раз, и в этом взгляде было столько боли, сколько может вынести только сердце сына. Рядом стоял старый Чойбал, опершись на древко флага, и лицо его было суровым, как скала, но в глазах блестела слеза, которую он смахивал незаметно.

— Сын мой, — сказал старик, глядя на Самбуу в упор, и голос его был низким и твердым, как сталь, и в нем не было ни капли сомнения. — Я знаю твоего отца сорок лет, с того дня, когда мы вместе рубили китайцев под Великой стеной, и я знаю, что он не оставит своих детей в беде. Как только он вернется, а он вернется через месяц, я не сомневаюсь в этом, мы соберем делегацию, лучших старейшин, самых хитрых переговорщиков, самых уважаемых аксакалов. Приедем к этому Бексултану, в его аул, и выкупим вас, какой бы дорогой ценой ни пришлось заплатить, хоть золотом, хоть серебром, хоть конями, хоть жизнью. Держись, и не дай отчаянию затуманить твой разум. И ты, девочка, — он кивнул Даяне, и голос его стал мягче, как прикосновение ветра. — Ты, ханская дочь, твоя кровь дороже золота, и имя твое дороже любых сокровищ. Не давай себя в обиду, не теряй надежду, помни, что за тобой стоит весь наш род, и мы не оставим тебя.

— Не дадим, — ответил Самбуу, и голос его дрогнул, но он взял себя в руки, и тронул коня, и вороной жеребец, чувствуя настроение хозяина, пошел шагом, а потом рысью.

Аул оставался позади, и с каждым шагом он становился все меньше, все дальше, все призрачнее, пока не превратился в темное пятно на горизонте. Даяна оглянулась, и сердце ее сжалось: мать стояла у юрты, не плакала, только сжимала край платка, и пальцы ее дрожали, и в этом жесте была вся ее любовь и вся ее боль. Алтан, ее подруга, с которой они вместе смеялись и гадали на бараньих лопатках, выбежала вперед, махала рукой, кричала что-то, но ветер уносил слова, потом упала на колени и закрыла лицо ладонями, и плечи ее вздрагивали от рыданий. Арслан и Байтаг, победители двух поединков, молча смотрели вслед, и лица их были каменными, и руки сжимали оружие, и в глазах горел огонь бессильной ярости. Пес Карабаш, глупый вороватый волкодав, который всегда воровал мясо из казана, бежал за лошадьми с громким лаем, вывалив язык, пока не отстал, и не сел в пыли, и не завыл протяжно, как волк.

Казахи держали слово, и в этом была странная, горькая честь. Два воина, молодые, с длинными усами, в стеганых халатах, которые пахли конским потом и дымом, ехали по бокам от ханских детей. Не связывали, не оскорбляли, не трогали. Только следили, чтобы не сбежали,

и глаза их были зоркими, как у соколов. Самбуу покосился на них: у одного из-за пояса торчал нож с вытертой, засаленной рукоятью, у другого короткая сабля в кожаных ножнах. Взгляды спокойные, без злобы, и в них не было угрозы, только настороженное внимание.

— Вах, — сказал один из них, тот, что постарше, с маленьким шрамом на скуле, который рассекал бровь и делал его лицо хищным. — Не бойся, джигит, не дрожи. Бексултан сказал, гости, значит, гости, и слово его тверже скалы. Пока не сбегаешь, пока будешь вести себя как подобает пленнику с честью, худо не будет. Еда будет, и вода, и кров, и защита от холода и зноя.

— Я не боюсь, — ответил Самбуу, и голос его был тверд, хотя внутри у него все дрожало от страха и унижения.

— А зря, — усмехнулся казах, и усмешка его была кривой, но не злой. — Бояться полезно, бояться значит уважать опасность, значит не делать глупостей, значит жить дольше. Тот, кто не боится, тот дурак, и дураки долго не живут в степи, их кости белеют на солнце, и вороны выклевывают им глаза.

Они двинулись в степь, и степь приняла их в свои объятия, и дорога уходила на юг, туда, где небо встречалось с землей, и горизонт был размытым и зыбким, как сон.

Степь в это лето стояла выжженная, желтая, как старая кость, как пергамент, на котором написана история смерти, и солнце поднималось белым каленым шаром, безжалостным, как глаз разгневанного бога, и к полудню земля трескалась, превращаясь в сухую корку, воздух дрожал и струился, как вода, и вдали являлись миражи, озера, которых не было, рощи, которых не существовало, и в этих миражах было столько обманчивой надежды, что Даяна каждый раз обмирала сердцем, но через мгновение надежда превращалась в пыль. Ни ветерка, ни облачка, только запах полыни, горький, терпкий, как сама жизнь, и запах сухой травы, которая хрустела под копытами, как битый фарфор, как стеклянные осколки, как кости давно умерших животных.

Иногда попадались скелеты павших животных, верблюда, лошади, и белые ребра торчали из песка, как пальцы мертвецов, черепа скалились пустыми глазницами, и зубы их были оскалены в предсмертной гримасе. Даяна смотрела на них, и холодный страх сжимал ее сердце, и она думала: неужели и нас ждет такое? Неужели эти кости, эти пустые глазницы, этот мертвый оскал — наше будущее? Неужели мы превратимся в такой же прах, и никто не вспомнит наших имен?

Самбуу ехал молча, и лицо его было неподвижно, как маска, только глаза горели внутренним огнем, и он сжимал в ладони амулет, волчий зуб на кожаном шнурке, подарок отца, который пах потом и верностью. Иногда он поглядывал на казахов, на их одежду, на их повадки, на то, как они сидят в седле, как держат оружие, как переговариваются друг с другом, и запоминал, анализировал, собирал знания, как драгоценные камни, потому что воин должен знать врага, даже если сейчас этот враг, временный хозяин, и от этого знания зависит его жизнь.

На третий день пути случилось первое удивление, первое потрясение, которое перевернуло все их представления о мире.

Солнце уже клонилось к закату, и небо стало багряным, как кровь, когда Бексултан поднял руку, и отряд остановился, и всадники замерли, как вкопанные. Казахи спешились, и кони их вздохнули с облегчением, расстелили на земле небольшие коврики, кто на чистом песке, кто на старых кошмах, которые пахли шерстью и потом. И, повернувшись лицом на юг, туда, где скрылось солнце, начали кланяться, вставать на колени, касаться лбами земли, и в каждом их движении было столько покорности, столько благоговения, столько веры, что Самбуу и Даяна замерли, забыв дышать. Один из них, с высокой, надтреснутой палкой в руке, на которую он опирался как на посох, что-то пел нараспев, гортанно, красиво, с рыдающими нотками, и голос его поднимался к небу, как молитва, как крик души, и в этом пении была такая древняя боль, такая глубокая тоска, что у Даяны слезы выступили на глазах.

— Что это? — шепотом спросила Даяна у брата, и голос ее дрожал от изумления.

— Не знаю, — ответил он, и голос его был тих, как шелест травы, — но похоже на молитву, на разговор с небом, на просьбу. Они просят у своего бога, у своего владыки, что-то важное, и в этом есть такая искренность, какой я никогда не видел у наших шаманов.

Бексултан, закончив кланяться, тяжело поднялся, отряхнул колени и подошел к ним, и в глазах его была тихая, спокойная мудрость, которую они не замечали раньше.

— Намаз, — сказал он, не дожидаясь вопроса, и голос его был ровным, как гладь воды. — Мы, мусульмане, молимся Аллаху пять раз в день, и это наш долг, наш путь, наша жизнь. А вы, ойраты, во что верите? К кому обращаетесь в минуты страха и отчаяния?

Самбуу переглянулся с сестрой, и в этом взгляде было столько неуверенности, сколько бывает у людей, столкнувшихся с чужим миром. Ответил осторожно, подбирая слова, как камешки на берегу:

— Мы чтим Вечное Синее Небо, Тенгри, оно отец всему, и землю, Умай, мать-богиню, которая рождает траву и воду. У нас есть шаманы, они общаются с духами предков, и мы приносим им жертвы. Мы не строим мечетей, мы молимся в степи, глядя вверх, потому что Тенгри видит всё, даже самые тайные мысли.

— Небо, значит, — задумчиво проговорил Бексултан, и глаза его затуманились, и он долго смотрел на горизонт. — У нас тоже есть Небо, но над ним Аллах, и Он властвует надо всем, и нет никого выше Его. Может быть, может быть, мы молимся одному богу, просто разными словами, разными именами, разными голосами? — Он усмехнулся, покачал головой, и в этой усмешке была горечь, и разочарование, и боль. — Ладно, джигиты, не будем о святом, не будем спорить, потому что споры о вере ведут только к войнам, а войны и так слишком много. Есть будете? Еда готова, и я не позволю вам голодать.

Дорога тянулась день за днем, и каждый день был похож на предыдущий, и жара не спадала, и пыль стояла в воздухе, как сама смерть. Казахи, несмотря на свою многочисленность, ели скудно, лепешки из просяной муки, кислое молоко, иногда кусок вяленого мяса, но каждый раз, когда они останавливались на привал, Бексултан подходил к Самбуу и Даяне с плошкой, и в этом жесте было столько заботы, что невозможно было поверить, что этот человек вчера угрожал их смерти.

— Ешьте, — говорил он, и голос его был настойчив, как приказ, но в нем слышалась мягкость. — Не отказывайтесь, не капризничайте, потому что худой воин плохой воин, а худая девушка плохая невеста. Ешьте, набирайтесь сил, вам еще предстоит долгая дорога.

Самбуу пробовал отказываться, неудобно было есть чужое, когда в их собственных сумах еще было мясо и курт, когда они могли прокормить себя, но Бексултан настаивал, и в его настойчивости была странная гордость хозяина, который не хочет, чтобы о нем плохо говорили. И однажды, когда Даяна отодвинула плошку с жидкой кашей, которая пахла пресным тестом и молоком, батыр нахмурился, и лицо его стало темным, как грозовое небо.

— Вах, девчонка! — сказал он, и голос его повысился, и в нем послышалась обида. — Ты думаешь, я отраву даю? Думаешь, я хочу вашей смерти? Нет, клянусь Аллахом, нет! Я слово держу, и мое слово дороже жизни. Вы мои гости, пока едете со мной, и гость в степи священен, и я отвечаю за вас перед небом и перед людьми. Ешь, не позорь меня перед своими воинами, не заставляй меня краснеть за свою щедрость!

— Она ест, — сказал Самбуу, и в голосе его была сталь, и он кивнул сестре. Даяна, вздохнув, приняла плошку, и ложка дрожала в ее руке, и она заставила себя проглотить эту кашу, которая была пресной и безвкусной, как глина.

С каждым днем, с каждым переходом, с каждым привалом Самбуу замечал странное, необъяснимое: Бексултан, этот грузный, страшный на вид батыр, которого он ненавидел всем сердцем, оказался на удивление болтливым, и словоохотливым, и даже почти добрым. На привалах он подсаживался к ним, и костер освещал его грузное лицо, и он рассказывал о своих детях, о своей семье, о том, как он мечтает о мире и покое.

— У меня их семеро, — хвастался он, жуя кусок лепешки, и в глазах его загорался теплый, почти нежный огонь. — Трое сыновей, четыре дочери, и все как на подбор, все красивые, все здоровые, все умные. Самый старший, Нурлан, уже воин, вон он, на сером коне, видишь, с саблей у пояса, настоящий джигит. А самый младший, Ахмет, еще сосет грудь, но уже такой смышленый, такой любопытный, шайтан, какой умный! Он уже читает и пишет по-арабски, представляетшь, в пять лет, а другие дети в этом возрасте только за игрушками бегают! Мулла говорит,

Ночью в степи было прохладно, и прохлада эта казалась небесным даром после дневного пекла, когда воздух плавился и дрожал, как над раскаленной сковородой. Звезды висели огромные, низкие, словно до них можно было дотронуться рукой, протянуть пальцы и сорвать, как спелые ягоды, и каждая звезда горела холодным, колючим светом, пронзая темноту тысячами серебряных игл. Казахи разбивали лагерь, ставили несколько шатров для своих воинов, но для Самбуу и Даяны Бексултан приказал поставить отдельную палатку, небольшую, сшитую из плотной верблюжьей шерсти, пахнущую животным теплом и дымом, с тяжелым, плотным пологом, который защищал от ветра и любопытных глаз.

— Спите, — сказал он, заглядывая внутрь, и голос его был низким и спокойным, как рокот далекого грома. — Не бойтесь, не тревожьтесь, потому что в степи зверей мало, а люди вам пока не враги, пока вы выполняете условия договора и не пытаетесь сбежать.

Сам он часто спал под открытым небом, завернувшись в широкий чапан из грубой шерсти, положив голову на жесткое, пропахшее конским потом седло, и лицо его было обращено к звездам, как у человека, который привык доверять только небу и земле. Даяна однажды спросила его, когда они сидели у костра и он помешивал палкой угли, высекая искры:

— Почему ты не спишь в палатке, Бексултан? Ты же батыр, у тебя есть право на удобства, на мягкую постель, на тепло.

— Потому что, — ответил он, и голос его был серьезным, как клятва, и он долго смотрел на звезды, на этот бесконечный, мерцающий океан, — палатка для слабых, для женщин, для детей, для тех, кто боится холода и ветра. Воин должен чувствовать землю под спиной, должен слышать каждый шорох ветра, должен видеть небо над головой, потому что небо говорит с теми, кто умеет слушать. Если враг придет ночью, если разбойники нападут на лагерь, я услышу их первым, я почувствую дрожь земли, я уловлю запах чужого коня. А в палатке я глухой, как камень, и слепой, как крот, и любой мальчишка сможет подкрасться и перерезать мне горло, пока я буду видеть сладкие сны.

И всё же для них, для пленников, для детей врага, он делал исключение, и это исключение было странным, необъяснимым, почти нелогичным. Больше того, на одной из стоянок, когда они уже приближались к ставке хана Баймурзы и вдали показались дымы кочевий, Бексултан подошел к Даяне с мягкой, почти робкой походкой и протянул ей маленький тряпичный сверток, перевязанный грубой бечевкой.

— Вот, — сказал он, и в голосе его слышалась застенчивость, как у ребенка, дарящего свой самый дорогой подарок. — Это мед, настоящий, горный, его собирают пчелы в ущельях, где растут дикие цветы, и он слаще любого сахара. И финики, черные, липкие, они привозятся из далеких земель, с юга, где солнце жарче и небо выше. Сладкие, как поцелуй матери, как первая любовь, как надежда на возвращение.

Даяна развязала дрожащими пальцами сверток и ахнула, и сердце ее на миг остановилось. Финики, черные, как угли, липкие, с длинными косточками, пахнущие медом и солнцем, каких она никогда не пробовала даже в самые праздничные дни. Мед, густой, янтарный, как жидкое золото, в крошечном глиняном горшочке, заткнутом тряпицей, и запах его разливался по воздуху, как обещание рая.

— Зачем ты нам это даешь? — спросила она, и голос ее дрогнул от изумления и недоверия. — Вы же сами, наверное, экономите, вы же сами небогаты, у вас и так еды в обрез, а вы отдаете нам самое дорогое.

Бексултан вздохнул тяжело, шумно, как кузнечный мех, и в этом вздохе было столько искренности, сколько бывает только у людей, не привыкших лгать.

— Экономим, — признался он, и лицо его стало виноватым, как у провинившегося школяра. — Финики дорогие, их купцы из далекой земли везут, через пустыни и горы, через реки и степи, и каждый плод стоит своих денег. Но вы, дети хана, вы для меня теперь не просто пленники, не просто заложники, не просто гарантия безопасности. И я, когда смотрел, как вы едите наш сухой курт и вяленое мясо, которое жестче старой подошвы, мне стало стыдно. Вах, стыдно, понимаешь? Так нельзя, чтобы гости помнили дорогу к нашему очагу только с обидой и болью, с унижением и страхом. Гость должен уйти с теплом в сердце, с благодарностью, с добрым словом. Ешьте, не стесняйтесь, мои воины не обеднеют от одного горшочка меда и от горсти фиников.

Самбуу слушал эти слова, сидя чуть поодаль, и в груди его боролись два волка, два чувства, две судьбы. Он все еще помнил, что Бексултан, враг, и враг опасный, и враг, который убил бы их всех без колебаний, если бы не старый Чойбал и его хитрый план. Он помнил угрозы, помнил холодный, расчетливый взгляд батыра в ту ночь, когда они стояли друг против друга на поле перед аулом. Но при этом, при всем этом, в этом толстом, грузном человеке, в его глазах, в его голосе, в его жестах было что-то, чего Самбуу не встречал у своих степняков, у своих воинов. Какая-то странная, непривычная мягкость, смешанная с воинской суровостью, какая-то человечность, которая разбивала все его представления о врагах.

— Спасибо, — сказал он коротко, и голос его прозвучал глухо, как из колодца, и он взял кусок финика, и положил его в рот. Сладко. Невыносимо, неправильно, чуждо сладко для человека, который должен ненавидеть и ждать момента для мести. Сладко, как запретный плод, как измена самому себе.

Месяц дороги, месяц бесконечного пути через выжженные степи, где земля трескалась и рассыпалась под копытами, как битая глина, мимо соляных озер, где вода была горькой и ядовитой, и воздух над ними дрожал, и в нем плясали миражи, мимо редких колодцев, вокруг которых собирались стаи волков и диких собак, мимо старых курганов, под которыми спали древние воины, чьи кости уже превратились в прах и ушли в землю. Месяц жары, пыли, которая проникала в легкие и оседала на зубах, редких дождей, которые падали раз в неделю, и каждый дождь был как благословение, как молитва, как подарок небес, и вода пахла свежестью и надеждой. Месяц разговоров с Бексултаном, который рассказывал о своей жизни, о своих детях, о своих мечтах, месяц молитв казахов, которые читали намаз даже на ходу, сидя в седле, делая странные движения руками и головой, и в этих движениях было столько искренней веры, столько преданности, что невозможно было не уважать их за это.

И вот однажды, когда солнце уже клонилось к западу и тени стали длинными, как пальцы мертвецов, вдали показались юрты. Не десяток, не два, а целый город из серого и белого войлока, с высокими конусообразными крышами, украшенными флагами и вымпелами, которые развевались на ветру, как разноцветные языки пламени. Юрты стояли рядами, как воины на параде, и между ними сновали люди, и дети бегали, и лошади ржали, и запах дыма, и жареного мяса, и свежего хлеба доносился до них, будто обещание тепла и безопасности. Ставка хана Баймурзы, великого хана, повелителя этих земель, старика с седой бородой и мудрыми глазами.

Хан Баймурза встретил их сам, и в этом было столько достоинства, что Самбуу на миг забыл, что он пленник, и почтительно склонил голову.

Хан вышел из большой юрты, самой роскошной, с резными деревянными дверями и шелковыми занавесями, опираясь на резной посох из черного дерева, украшенный серебряными

накладками и драгоценными камнями. Старик, седой как лунь, как зимняя метель, с длинной, ниже пояса, бородой, которая лежала на груди, расчесанная на две пряди, и каждая прядь была заплетена в тонкую косичку. Лицо его было изрезано глубокими морщинами, словно карта древних дорог, но глаза, черные, живые, с веселыми, как у молодого парня, огоньками, смотрели остро и молодо, и в них не было ни злобы, ни жестокости. Он улыбался, и улыбка его была широкая, почти беззубая в передних местах, но от этого она не становилась менее радушной, менее теплой, и в этой беззубости была какая-то домашняя, почти дедушкиная доброта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.